18+

Марина Баранцева

ИЗБУШКА НА КРАЮ СЕБЯ

книги 5–9



Марина Баранцева

Избушка на краю себя. книги 5—9

«Издательские решения»

Баранцева М.

Избушка на краю себя. книги 5—9 / М. Баранцева — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.В книгах 5–9 саги «Избушка на краю себя» Агата проходит путь от Яги-целительницы до Хранительницы Легенды. Она помогает близким и случайным гостям пережить утраты, страхи и семейные тайны, а затем сталкивается с собственными демонами и древним долгом рода. Вместе с семьёй и Клубом Не-Знаек она учится не побеждать тьму, а договариваться с ней, превращая боль в основу для новой, живой жизни.

© Баранцева М.
© Издательские решения

Содержание

Избушка на краю себя. Книга пятая. Часть 1 6
Утро, в котором Агата забыла, как колдовать 6
Глава 1 11
Глава 2 16
Бог в реанимации 16
Глава 3 23
Мальчик, который хотел быть стеклом 23
Глава 4 30
Сын, который стал чужим 30
Глава 5 36
Свекровь и чувства 36
Глава 6 43
Девочка, которая не выросла 43
Глава 7 50
Зоя и пустота между струнами 50
Глава 8 56
Узлы и пустота 56
Глава 9 62
Марфа Петровна и разбитая чашка 62
Глава 10 69
Фил и язык без слов 69
Глава 11 74
Зоя и гном Вседозволенности — вторая серия 74
Глава 12 79
Злата и разговор без планшета 79
Или о том, что голос есть у всех — даже у тех, кто никогда не говорил 79
Глава 13 84
Фил и птица с двумя крыльями 84
Глава 14 89
Гвидон и пропавшая лыжня 89
Конец ознакомительного фрагмента. 90

Избушка на краю себя
книги 5—9

Марина Баранцева

© Марина Баранцева, 2026

ISBN 978-5-0069-4854-9 (5-9)
ISBN 978-5-0069-4506-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Избушка на краю себя. Книга пятая. Часть 1

Утро, в котором Агата забыла, как колдовать

Чайник закипел в шесть утра.

Не потому, что Агата встала с рассветом, полная мудрых мыслей и планов на день. А потому, что забыла его выключить с вечера. Вода выкипела почти до дна, носик плевался паром, а на дне чайника белел накипью новый, ещё не родившийся слой утренней горечи.

— Чёрт, — сказала Агата, обжигая пальцы о заварку.

За окном моросило. Не дождь — так, кисейная муть, от которой лес выглядел неумытым, а настроение — безнадёжно испорченным.

Она поставила чайник остывать и уставилась в стену.

Ни одной мысли.

Ни одной.

Обычно в это время её голова уже гудела, как улей: Злату разбудить, Филину напомнить про завтрак, Гвидону — про совет старейшин, клиентке Веронике ответить, можно ли перенести консультацию, у Козочки вчера был тяжёлый день, надо спросить, не приснилось ли ей что плохое…

Сегодня голова молчала.

Пусто. Бело. Как чистый лист, на который страшно ставить первую букву.

Агата посидела ещё пять минут, потом встала, подошла к зеркалу и честно попыталась вспомнить хоть одно заклинание.

— Курьи ноги, почешите пятки…

Нет. Это не то. Это для непогоды.

— Ступа, ступа, не скрипи на стуже…

Боже, какая чушь.

— Яга есть Яга, где помело — там и свет…

Она замолчала. Зеркало молчало в ответ. Обычно в нём хотя бы Тень появлялась, язвила, задиралась. Сегодня Тени тоже не было. То ли проспала, то ли ей, как и всем, надоело.

— Кто я? — спросила Агата у своего отражения. — Только без сказок.

Отражение вздохнуло. У него был усталый, синюшный вид.

— Агата, — сказало оно. — Пятьдесят два года. Женщина. Мать. Жена. Травница. Гадалка. Бывшая Баба-Яга, ныне — неопознанный объект.

— Неопознанный?

— Сама посмотри. Фартук надела? Надела. Волосы убрала? Убрала. Руки на месте. Ноги на месте. А Яги — нет. Как корова языком слизала.

Агата потрогала лицо. Пальцы встретили привычные морщины, привычную сухость кожи. Лицо было на месте. Яги не было.

— Может, она в ступе? — с надеждой спросила она.

— Ступа третью неделю без движения стоит. Пауки в ней гнездо свили, — напомнило отражение. — Ягуны-паучки. Мелкие, шустрые. Вчера Козочка хотела полетать, а они из ступы как прыснут — она с крыльца кубарем.

Агата поморщилась. Надо бы выселить пауков. Но для этого надо колдовать. А для колдовства надо быть Ягой. Замкнутый круг.

— Сходи к Котофею, — посоветовало отражение. — Он хоть и котяра наглый, но иногда дельное говорит.

— Он спит ещё.

— Не сплю, — раздалось с печи. — Но притворялся, потому что ты утром всегда суетишься, а суета мешает досматривать сон про мышь-оборотня. Очень драматичный сон, между прочим. Она сначала была мышью, потом превратилась в сыр, я её съел, а она внутри меня снова стала мышью и начала бегать. Я проснулся в холодном поту.

— Котофей.

— Я слушаю.

— Я забыла, как колдовать.

Кот приоткрыл один глаз.

— А ты попробуй не колдовать.

— Что?

— Ну, не колдуй. Вообще. День. Два. Неделю. Посмотри, что будет.

— Лес рухнет.

— Лес стоял до тебя и простоит после. Клиенты разбегутся? Не разбегутся, ты им нужна не как автомат по выдаче прогнозов, а как… — кот замялся, подбирая слово. — Ну, как скамейка. На которую можно присесть, когда ноги не держат.

— Скамейка?

— Скамейка не лечит переломы. Но даёт передышку. Ты сейчас — передышка. Сама себе. Побудь ей.

Агата хотела возразить, но не нашлась.

Она налила себе холодного чаю (заваривать новый было лень), села в кресло и уставилась в окно.

За окном моросило.

Внутри — тоже.

— — — — — —

— Мам, ты заболела?

Злата стояла в дверях, кутаясь в огромный Гвидонов свитер. Ей было пятнадцать, и она всё ещё не умела громко входить в комнаты. Просто появлялась — бесшумно, как лесная тень.

— Нет, — сказала Агата. — А что?

— Ты сидишь. И ничего не делаешь. Это подозрительно.

— Я думаю.

— О чём?

Агата посмотрела на дочь. Худенькая, длинная, с волосами, которые вечно лезли в глаза и которые она вечно забывала убирать. Взрослая уже. Почти.

— Я думаю, — медленно сказала Агата, — что всю жизнь училась быть нужной. А теперь не знаю, как быть просто… здесь.

Злата подошла ближе, села на пол у её ног, положила голову на колени. Как в детстве. Только тогда это был жест усталости от мира, а сейчас — жест усталости от материнской непонятности.

— А ты не будь нужной, — сказала она в складки фартука. — Ты просто будь.

— Это одно и то же?

— Нет. Нужная — это про других. Быть — это про себя. Тебе же не надо, чтобы тебя кто-то ел, чтобы понять, что ты — хлеб.

Агата улыбнулась.

— Откуда ты такая взялась?

Злата подняла голову, посмотрела серьёзно.

— Из тебя. Только ты почему-то думаешь, что я выросла вопреки. А я выросла благодаря. Ты мне разрешала быть собой, даже когда самой было страшно. А себе — не разрешаешь. Глупо, мам.

— Глупо, — согласилась Агата.

— Тогда разреши.

— Что?

— Себе. Быть. Не знать. Не уметь. Не колдовать. Просто сидеть и смотреть в окно, пока чайник закипает, и не бежать никому на помощь.

Агата молчала долго. Гладила дочь по голове, перебирала пряди.

— А если я привыкну? — спросила она. — И не захочу возвращаться?

— А зачем возвращаться туда, где тебе было плохо? — удивилась Злата. — Ты не вещь, которую забыли на полке. Ты — лес. Лес не возвращается в прошлую весну. Он просто живёт эту.

— —

К вечеру Агата всё-таки вышла в сад.

Не работать — просто пройтись. Ноги сами принесли к старой рябине, под которой прошлой весной она закопала пустую колыбель. Дерево принялось, вымахало уже по плечо, ветки тянулись к солнцу неровно, но упрямо.

Она присела на корточки, провела рукой по земле.

— Я не знаю, что сажать, — сказала она вслух. — Всё посадила. Всё вырастила. Дети выросли. Сад цветёт. Клиенты приходят и уходят. Муж рядом. Кот мурлычет. Чего ещё надо?

Земля молчала.

— Наверное, ничего, — ответила она сама себе. — Наверное, надо просто перестать требовать от жизни, чтобы она ещё что-то дала. И начать замечать, что она уже дала.

Она посидела ещё немного. Потом встала, отряхнула подол и пошла в избу.

На пороге обернулась.

Рябина стояла тихая, тёмная, в вечернем сумраке.

— Я ещё вернусь, — сказала Агата. — Не сейчас.

— —

Ночью ей приснилась Зоя.

Маленькая, лет пяти, с вечно разбитыми коленками и вечно растрёпанными косичками. Она сидела на полу среди разбросанных игрушек и самозабвенно рисовала — не на бумаге, на стене.

— Козочка, — позвала Агата во сне. — Что ты делаешь?

— Рисую маму, — сказала девочка, не оборачиваясь. — У неё сегодня нет лица.

Агата подошла ближе. На стене разноцветными мелками была нарисована женщина в фартуке. Без лица.

— Почему без лица?

— Потому что ты его куда-то дела, — вздохнула Зоя. — Ищешь, наверное. Потеряла в своих взрослых делах. Найдёшь — дорисуем.

Она проснулась от собственного всхлипа.

В избе было темно. Котофей, почуяв неладное, запрыгнул на кровать, ткнулся мокрым носом в щеку.

— Опять?

— Опять.

— Страшный сон?

— Нет. Просто сон.

Кот помолчал. Потом улёгся у неё на груди, тяжело, по-хозяйски.

— Знаешь, — сказал он в темноту, — когда я был маленьким котёнком, я думал, что взрослые всё знают. Потом вырос и понял: они просто лучше притворяются. А настоящая мудрость — это когда перестаёшь притворяться. И разрешаешь себе не знать. Не уметь. Не справляться.

— И что тогда?

— А тогда приходят другие люди. Которые тоже не знают, не умеют, не справляются. И вы сидите вместе в этой куче незнания, как котята в коробке. И это… уютно.

Агата погладила его по спине.

— Ты сегодня философ.

— Я сегодня выспался. Мышь-оборотень всё-таки успокоилась и перестала бегать.

— И чем дело кончилось?

— Я её переварил. Она была вкусная. Мораль: любой страх можно переварить, если хорошо прожевать.

Агата усмехнулась.

За окном занимался рассвет. Серый, скучный, без обещаний.

Она полежала ещё немного, потом встала, накинула фартук, подошла к печи.

Чайник был пуст. Она налила свежей воды, поставила на огонь.

— Котофей.

— Мяу.

— Сегодня приходят люди?

— Двое. Женщина с колыбелью и мужчина, у которого умер сын. Я их записал на утро и на вечер.

Агата кивнула. Помолчала.

— Я не знаю, что им сказать.

— Скажи правду, — зевнул кот. — Что ты тоже не знаешь. Что никто не знает. Но вы можете не знать вместе.

— Это поможет?

— Иногда это единственное, что помогает.

Чайник закипел.

Агата сняла его с огня, заварила свежий чай.

В дверь постучали.

— —

Методическая врезка.

Дневник Яги. Запись №842.

Злата сказала: «Ты не вещь, которую забыли на полке».

Я думала об этом весь день. О том, как легко я превращаю себя в функцию. «Я — та, кто лечит». «Я — та, кто держит». «Я — та, кто знает». И так трудно — просто быть. Без функции, без задачи, без роли.

В йога-сутрах это называется кайвалья. Обычно переводят как «освобождение». Но сегодня я думаю, что это — возвращение в исходное состояние. Не в то, каким ты был в детстве. А в то, каким ты был до того, как тебя научили, что ты должен быть кем-то.

До того, как я стала Ягой, я была просто Агатой. Не знающей, не умеющей, не спасающей. Просто девочкой, которая смотрела на облака и придумывала им имена.

Может быть, освобождение — это разрешить себе снова стать той девочкой.

Не навсегда. На час. На пять минут. На столько, сколько нужно, чтобы чайник закипел.

Я попробую.

Сегодня на завтрак я съела кашу и не запланировала ничего важного до обеда.

Пока не развалилась. Пока не заржавела. Пока просто сижу и смотрю, как закипает чайник.

В этом что-то есть.

— —

Котофей рекомендует:

Знаете, чем хороши кошки? Мы не пытаемся быть полезными. Нас не волнует, нужны ли мы миру. Мы просто есть — тёплые, пушистые, иногда наглые. Мир сам решает, нужны мы ему или нет.

Яге стоило бы поучиться у кошек. Хотя бы иногда.

Лежать на солнце. Не отвечать на письма. Смотреть в стену без мысли в голове. Не знать, не уметь, не хотеть.

Это не лень. Это — подзарядка.

Даже у вечного двигателя бывает техобслуживание. А Яга — не вечный двигатель. Она просто женщина, которая слишком долго думала, что обязана двигать мир.

Мир, между прочим, неплохо двигается сам. Иногда даже быстрее, чем когда его толкают.

Мяу.

— —

В дверь постучали второй раз — настойчивее.

Агата допила чай, поправила фартук и пошла открывать.

На пороге стояла женщина. Не молодая, не старая. С лицом человека, который давно перестал ждать чуда, но ещё не научился жить без надежды. В руках она держала свёрток.

— Яга, — сказала женщина. — Меня зовут Елена. У меня нет к вам вопроса. У меня есть… то, что некуда деть.

Она развернула ткань.

На свет появилась крошечная, искусно сплетённая из берёсты колыбелька. Пустая.

— Моя дочь прожила три часа, — сказала Елена. — Ей не нужна была колыбель. Но я не могу её выбросить. И не могу оставить себе — каждый раз, когда вижу, внутри что-то обрывается. Скажите, что мне делать.

Агата смотрела на колыбель. Потом на женщину. Потом на свои руки, которые уже тянулись принять эту ношу.

Она не знала правильных слов.

Она знала только, что можно просто взять.

— Заходи, — сказала она. — Чай будешь?

Женщина кивнула.

Дверь закрылась.

За окном всё так же моросило. Внутри начиналась работа.

— —

Глава 1

Колыбель, в которой никто не спал.

Елена сидела на краю лавки — ровно настолько, чтобы не упасть, но и не позволить себе опереться на спинку. Спина прямая, плечи сведены, пальцы вцепились в чашку так, будто чашка — последнее, что держит её в этой реальности.

Агата разливала чай медленно. Не потому, что хотела казаться спокойной. Просто поняла: сейчас любое лишнее движение — и женщина сломается. Не заплачет — сломается. С тихим, сухим треском, как старая ветка под первым снегом.

— Три часа, — сказала Елена. Голос ровный, будто диктует сводку погоды. — Я держала её на руках. Она была тёплая. Дышала. Открыла глаза один раз. Серые. У меня тоже серые. Я думала: «Вот она, я её вижу, всё будет хорошо». А потом врач сказал: «Остановка сердца». И я перестала слышать. Не на минуту — на три года. Я только недавно поняла, что оглохла.

— А сейчас? — спросила Агата.

— Сейчас я слышу слишком много. Каждое слово. Каждое «забудь, роди другого». Каждое «у тебя же есть ещё дети». Каждое «сколько можно себя хоронить». Я слышу, как они хотят мне помочь. И мне хочется кричать: «Не помогайте! Не надо меня спасать! Я не хочу забывать!»

Она замолчала. Чашка в её руках дрожала мелкой, едва заметной дрожью.

— Муж сказал: «Ты убиваешь нашу семью своей памятью». Он не злой. Он просто не знает, как вытащить меня из этого. Я сама не знаю. Но я не хочу, чтобы меня вытаскивали. Я хочу, чтобы кто-то просто… сел рядом. В эту яму. И не говорил, что пора выбираться.

Агата молчала долго. Котофей, дремавший на печи, приоткрыл глаз, оценил обстановку и решил не вмешиваться. Григорий затих за вениками — даже он понимал, когда нужно исчезнуть.

— Я никогда не рассказывала тебе про Зою, — сказала Агата. — Не ту Зою, которая сейчас приезжает к нам по выходным и разбрасывает носки по всей избе. Первую.

Елена подняла глаза.

— Первую?

— Я была молодая. Глупая. Думала, что если очень хотеть ребёнка, то Бог или судьба, или просто везение обязаны дать его тебе целым. Я не знала, что дети могут… не получиться. Врачебная ошибка, сказали. Слово какое-то. Я его забыла. А девочку — не забыла.

Агата говорила спокойно, будто читала старую, много раз перечитанную книгу. Только пальцы на заварочном чайнике побелели.

— Я не плакала. Я не разрешила себе. У меня был Гвидон, у меня была обязанность быть сильной, у меня была вера в то, что если я раздавлю эту боль внутри себя, она перестанет существовать. Я зачала Зою через полгода — в ярости, в вызове, в желании доказать, что жизнь сильнее смерти. И она родилась. Живая, орущая, бешеная. Я думала: «Всё, я победила».

— А потом?

— А потом Зое исполнилось пять, и я впервые увидела её спящей. И поняла, что та, первая, никогда не спала в колыбели. Что я не дала ей даже этого. Я закопала её внутри себя так глубоко, что тридцать лет не находила могилы.

Елена молчала. Чашка в её руках перестала дрожать.

— И что вы сделали? — спросила она.

— Ничего. Ещё бы двадцать лет ничего не делала. А потом пришла женщина с пустой колыбелью. И я поняла: если я сейчас не научусь быть рядом с чужой болью, не сбегая в спасательство, — я никогда не научусь быть рядом со своей.

Она встала, подошла к полке, взяла ту самую берестяную колыбельку, которую Елена поставила у порога.

— Знаешь, что это? — спросила она.

— Моя нелепость. Моя глупость. Моя несданная посуда.

— Это — **место**.

— Место?

— У любви нет адреса, — сказала Агата. — Когда рождается ребёнок, ты готовишь ему колыбель. Не потому, что он будет в ней спать всю жизнь. А потому, что ему нужно **место**. Твоей дочери негде было спать. Но это не значит, что ей не нужно место. Ему нужно. Тебе нужно. Этой любви, которая уже была, но осталась без адресата.

Она поставила колыбельку на стол, между собой и Еленой.

— Что мне с ней делать? — прошептала Елена.

— Для начала — перестать прятать. Поставь её на видное место. Не как памятник. Как напоминание: у этой любви есть форма. Она не исчезла, она просто… свернулась, как спящий котёнок. Дай ей проснуться.

— Муж не поймёт.

— Муж боится твоей боли, потому что не знает, как к ней подступиться. Он думает, что боль — это болезнь. А это — орган. Ты не вырезаешь сердце, когда оно болит. Ты учишься с ним жить.

Елена смотрела на колыбельку. Долго. Потом медленно, очень медленно провела пальцем по краю.

— Она красивая, — сказала она. — Я сама плела. Три месяца. Думала, успею.

— Ты успела, — сказала Агата. — Ты сделала ей место. Она его заняла. Просто мы не видим тех, кто спит в берестяных колыбельках. Но они есть.

Елена заплакала.

Не так, как плачут на людях — стыдливо, в платок, сдавленно. Она заплакала, как плачут в пустом доме, когда никто не слышит. Громко, навзрыд, всем телом.

Агата не обнимала её. Не гладила по голове. Не говорила «тише, всё пройдёт».

Она просто сидела рядом и держала чайник, чтобы он был готов, когда женщина захочет пить.

Колыбелька осталась в избе.

Не на видном месте — на подоконнике, среди сухих трав и прошлогодних шишек. Елена уходила и оглянулась на пороге:

— Я не знаю вашего имени.

— Агата.

— Я приду ещё, Агата. Можно?

— Можно.

Дверь закрылась. Котофей спрыгнул с печи, подошёл к подоконнику, обнюхал колыбельку. Фыркнул.

— Ты ей не сказала главного, — заметил он.

— Чего?

— Что эту колыбель ты оставляешь не ей. А себе.

Агата промолчала.

— Ты тридцать лет носила свою нерождённую дочь в рюкзаке за спиной, — продолжил кот. — Думала, что так ты её не забываешь. А на самом деле ты не давала ей выйти. Сегодня ты впервые положила её на подоконник. Рядом с шишками и сухой мятой. Не в рюкзаке. Не в сердце, замурованном заживо. Просто — на свет.

Агата смотрела в окно. За окном всё так же моросило.

— Я не знала, что она там, — сказала она.

— Знала, — мурлыкнул кот. — Просто боялась открыть рюкзак. Вдруг оттуда пахнет не мятой, а тленом?

— А пахнет?

— Мятой, — сказал Котофей. — И ещё немного — первой зеленью. Как будто семя проросло, но ещё не вылезло из земли.

Агата выдохнула.

— Чай будешь?

— Наливай.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №843.

Сегодня я впервые сказала вслух про первую беременность.

Странно: я могла говорить клиентам самые страшные правды об их жизнях, но признаться себе, что у меня тоже есть мёртвая дочь, — не могла. Я думала, что если назову это, то предам Зою. Что живая дочь — не замена мёртвой, и любое признание первой беременности будет означать, что вторая — всего лишь утешительный приз.

Но сегодня я поняла: Зоя — не замена. Она — ответ. Не той смерти, а той любви, которую я не знала, куда деть. Я так боялась не справиться, так боялась потерять и эту, что вцепилась в неё мёртвой хваткой. Я не давала ей дышать, потому что думала: если ослаблю хватку — она исчезнет, как та, первая.

А Зоя выросла. Не потому, что я её держала. А потому, что она — отдельная жизнь. Со своим сценарием. Со своей волей к существованию.

Мёртвая дочь осталась там, в двадцать лет. Живая дочь — здесь, разбрасывает носки и строит карьеру. И я только сейчас, глядя на берестяную колыбельку на подоконнике, понимаю: я имею право помнить обеих.

Их не надо выбирать.

Котофей рекомендует:

Горе без ритуала — как посылка без адреса. Почтальон носит её туда-сюда, но не может вручить. Рано или поздно посылка истлеет в сумке, и почтальон сойдёт с ума от запаха.

*Ритуал — это не «отпускание». Это — **вручение**. Вы пишете адрес, ставите печать, отдаёте в руки. Даже если адресат — небо, лес, пустая колыбелька на подоконнике.*

Елена вручила свою посылку сегодня. Агата — тоже. Две женщины, две колыбели, один лес.

Лес принял обе. У леса нет очереди на приём.

Мяу.

Через три дня Елена пришла снова.

Не одна — с мужем. Крупный, молчаливый мужчина в куртке с чужого плеча. Он не знал, куда девать руки: сначала сунул их в карманы, потом вытащил, потом скрестил на груди.

— Я не за этим, — сказал он, глядя в пол. — Я не умею говорить красиво. Я просто хочу понять: если она поставит эту колыбель на видное место, это поможет? Или это будет длиться вечно?

— Это будет длиться всегда, — сказала Агата. — Но «всегда» не значит «каждую секунду». Сначала — каждый час. Потом — каждый день. Потом — раз в неделю. Потом вы сможете пройти мимо колыбели и не остановиться. Потом вы сможете улыбнуться, вспомнив, как Елена плела бересту и напевала. Потом это станет частью вашей жизни. Не главной частью. Просто — частью.

— Я боюсь, что она навсегда останется в этой боли.

— А вы боитесь, что останетесь без неё? — спросила Агата.

Мужчина поднял глаза. В них мелькнуло что-то, похожее на ужас.

— Я не хочу её терять. Но я уже потерял её. Три года назад. Она здесь, но её нет.

— Она здесь, — сказала Агата. — Просто она была в командировке. К дочери. Теперь она вернулась. Немного другая. С колыбелью в багаже. Вы готовы жить с этой другой?

Мужчина посмотрел на Елену. Елена смотрела на свои руки.

— Я три года ждал, когда вернётся та, прежняя, — сказал он. — Сегодня понял: она не вернётся. Или я остаюсь с этой, новой, или ухожу.

— Остаёшься? — спросила Елена, не поднимая глаз.

— Остаюсь, — сказал он. — Только научи меня, как с ней жить. Я не умею.

— Я сама не умею, — сказала Елена. — Давай учиться вместе.

Агата налила чай. Третью чашку.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №844.

Сегодня я видела, как горе становится мостом.

Елена и её муж три года жили в параллельных реальностях. Она — в прошлом, с мёртвой дочерью. Он — в будущем, без этой дочери, в надежде, что жена когда-нибудь вернётся в настоящее. Они не встречались нигде.

*Колыбель стала точкой встречи. Не потому, что она волшебная. А потому, что она — **реальная**. Её можно потрогать. Она пахнет берестой. Она стоит на подоконнике, и на неё падает свет.*

Горе матери и горе отца — разные языки. Мать оплакивает ребёнка, которого носила под сердцем. Отец оплакивает жену, которую потерял в этом горе. Они не понимают друг друга, потому что говорят о разном.

Но если им есть на что смотреть — на одну колыбель, на один свет, на одну боль, которая теперь общая, — они начинают учить язык друг друга.

Это не исцеление. Это перемирие.

Но с перемирия начинается мир.

Колыбелька осталась на подоконнике.

Елена уходила, и в её походке появилось что-то новое. Не лёгкость — лёгкости не будет долго, может быть, никогда. Но опора. Нога ставилась твёрже, плечи расправились на полсантиметра.

Муж шёл рядом, и его рука лежала у неё на пояснице. Не собственнически — страхуя.

Агата смотрела им вслед, пока они не скрылись за поворотом тропы.

— Ну что, — сказал Котофей, вылезая из-за печи. — Зачёт. Клиент принят, оплата получена.

— Какая оплата?

— Самая дорогая. Они тебя услышали.

Агата покачала головой.

— Я ничего особенного не сказала.

— Ты сказала главное: боль не надо лечить, если она не просит лекарства. Ей нужно место. Ты дала место. Себе — тоже. Двойная выручка.

Кот довольно потянулся и направился к миске.

— Кстати, — сказал он на полпути. — Ты заметила, что в твоём рюкзаке стало легче?

Агата прислушалась к себе.

— Заметила.

— Вот. Продолжай в том же духе. И не забудь покормить кота. Я тут единственный, кто говорит правду, и мне нужны силы.

Агата достала сметану.

Клиентский кейс №1. Тема: Перинатальная потеря, мертворождение, горе без адресата. Используемые метафоры: пустая колыбель как место для любви; рюкзак с нерождённым ребёнком; почтальон без адреса. **Ключевая сутра (скрытая):** *Авидья — неверное восприятие*. Елена считала свою память болезнью. Исцеление началось, когда память стала

местом. **Результат:** Легитимизация горя. Возвращение способности говорить о потере без разрушения. Начало диалога в паре. **Работа Агаты с собой:** Впервые публично признала свою первую беременность. Начала процесс отделения мёртвой дочери от живой. Сняла рюкзак.

— Знаешь, — сказала Агата вечером, глядя на колыбельку, — у неё даже имени нет. Я не дала ей имя.

— Никогда не поздно, — мурлыкнул Котофей.

— Как назвать ту, которая прожила три месяца в животе и никогда не вышла на свет?

— Как хочешь. Она же твоя.

Агата молчала долго. Смотрела, как сумерки заползают в избу, как Григорий зажигает лучину, как тени пляшут на стенах.

— Рябина, — сказала она наконец. — Я посажу рябину. У неё ягоды горькие, но птицы их любят. И листья краснеют осенью, будто не хотят отпускать лето.

— Рябина, — повторил Котофей. — Хорошее имя. Не плакса, не неженка. Будет стоять в саду, кормить птиц, не требовать полива. Подходяще.

Агата кивнула.

В саду было темно. Но она знала, что завтра утром возьмёт лопату и пойдёт копать яму.

Не для новой колыбели.

Для дерева, у которого будут ягоды.

Наутро она копала долго. Земля была плотная, с корнями, с камнями. К вечеру ладони покрылись мозолями, а яма была готова.

— Ты уверена, что хочешь её здесь? — спросил Гвидон, наблюдая с крыльца.

— Здесь, — сказала Агата. — Рядом с избой. Чтобы видно было из окна.

Он не стал спрашивать, зачем. Просто взял вторую лопату и расширил яму.

Саженец был тонкий, гибкий, с тремя листочками на макушке.

— Жить будет, — сказал Гвидон, приминая землю вокруг ствола.

— Будет, — сказала Агата.

Она полила рябину из ковша и пошла в избу.

На подоконнике, рядом с сухой мятой и шишками, по-прежнему стояла берестяная колыбелька.

Но теперь в саду росло дерево.

И у дерева было имя.

Глава 2

Бог в реанимации

Или о том, что икона на шкафу — это не предательство

Он вошёл не как проситель — как человек, которого привели насильно.

Спина прямая, плечи развёрнуты, подбородок вздёрнут. Только пальцы, сжимающие свёрток, побелели до синевы.

— Меня жена заставила, — сказал он вместо «здравствуйте». — Я не верю во всю эту… — он обвёл рукой избу, печь, связки сухих трав под потолком, Котофея, лениво взирающего с полатей, — …эзотерику. Я человек factual. Был.

Последнее слово он добавил нехотя, будто выдавил из себя лимонную косточку.

Агата не обиделась. Она вообще редко обижалась на таких — жёстких, прямых, сбитых из железобетона. За этим панцирем всегда билось что-то настолько хрупкое, что владелец панциря сам боялся к этому прикоснуться.

— Чай? — спросила она.

— Я не пью чай. Точнее, пью, но чёрный, без сахара, без трав. Обычный. Фирменный. В пакетиках.

— Такого нет, — сказала Агата. — Есть иван-чай, есть смородиновый лист, есть мята с мелиссой. И заварка индийская, прошлогодняя, Гвидон привёз.

Мужчина помолчал.

— Давайте индийскую. И без мёда.

Агата кивнула. Поставила чайник.

Он сидел на лавке, не прикасаясь спиной к стене. Прямой, как телеграфный столб. Свёрток — в свёртке угадывалась прямоугольная, тяжёлая форма — лежал у него на коленях, и он то и дело поправлял край ткани, будто проверял, не украли ли.

— Я — Николай, — сказал он. — Пятьдесят шесть лет. Инженер-конструктор на заводе. В бога не верю. В бабок не верю. В магию — тем более. Жена три года ходила вокруг да около, наконец уговорила. Сказала: «Сходи, Коленька, тебе полегчает». Я не жду, что полегчает. Я просто хочу, чтобы она отстала.

— А чего хотите вы? — спросила Агата.

Он дёрнулся, будто она ударила.

— Я? Ничего. Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы всё было как раньше. Но это невозможно. Поэтому я ничего не хочу.

Чайник закипел. Агата заварила чай, поставила перед ним чашку. Он не притронулся.

— Расскажите про сына, — сказала она.

Николай молчал долго. Минуту. Две. Котофей перестал мурлыкать, Григорий замер за вениками. Даже изба перестала скрипеть.

— Антоша, — сказал он наконец. Голос сел, просел, превратился в шорох. — Антон. Тридцать один год. Спортсмен. Не пил, не курил, зарядку делал по утрам. Инфаркт. Прямо на работе. Скорая приехала через двадцать минут. Он уже не дышал. Я узнал об этом через три часа. Жена позвонила. Я был на совещании. Я сказал: «Перезвоню». И продолжил совещание. Потому что если бы я остановился, я бы… я бы…

Он замолчал.

— Вы бы что? — спросила Агата.

— Я бы провалился, — сказал Николай. — В какую-то чёрную дыру, из которой нет выхода. Я это чувствовал. Краем сознания. Если я сейчас сяду, если я сейчас заплачу, если я

сейчас признаю, что моего сына больше нет — я не встану. Никогда. Поэтому я продолжил совещание. Обсуждал коэффициенты, допуски, сроки поставок. У меня был очень ровный голос. Коллеги потом сказали: «Ты держался как настоящий мужчина». А я думал: «Я не держался. Я умер. Просто забыл лечь».

Он взял чашку. Отпил. Поморщился — то ли от горечи, то ли от воспоминаний.

— Три года, — сказал он. — Три года я «держусь». Хожу на работу. Выполняю план. Отвечаю на вопросы. Жена плачет — я обнимаю. Дочь звонит — я говорю: «Всё хорошо, держись». А сам… сам не знаю, кто я. Инженер? Отец? Муж? Живой?

Он замолчал. Потом, словно решившись, развернул свёрток.

На свет появилась икона.

Старая, тёмная, в тяжёлом серебряном окладе. Лик едва угадывался — то ли Спас, то ли Никола, то ли кто-то третий, строгий и усталый, каких много на старых досках.

— Это бабушкина, — сказал Николай. — Она верующая была. Мама не взяла — комсомолка, атеистка. А я взял. Не потому, что верил. Просто… память. Антоша маленький любил рассматривать. Говорил: «Папа, а почему у дяди глаза грустные?» Я отвечал: «Потому что он много знает». Антоша кивал и говорил: «Когда я вырасту, я тоже буду много знать». Он вырос. Узнал. И ушёл.

Николай провёл пальцем по окладу. Палец дрожал.

— Я не могу на неё смотреть. Каждый раз, когда вижу этот лик, я слышу: «Папа, а почему у дяди глаза грустные?» Я не могу её выбросить — это бабушкино, это память, это… предательство. Я не могу её оставить — она стоит у меня в кабинете и смотрит. Три года смотрит. Я переворачиваю её лицом к стене — мне кажется, что я предаю Антошу. Я ставлю лицом к себе — я не могу работать, потому что у меня внутри всё обрывается. Жена говорит: «Сходи к батюшке, отдай в церковь». А я не могу. Потому что если я отдам икону, я признаю, что Антоши больше нет. А если я признаю — я перестану быть отцом. Понимаете? Пока икона здесь, я ещё как-то держусь. Но я больше не могу так держаться. Я устал.

Он замолчал. Чашка в его руках остыла, он так и не сделал ни глотка.

Агата смотрела на икону. Потом на Николая. Потом куда-то вглубь себя, где у неё самой хранился похожий узел.

— Знаете, — сказала она, — у меня есть свекровь. Марфа Петровна. Всю жизнь проработала в лаборатории, заведовала клинической диагностикой. Микроскопы, пробирки, анализы. В бога не верит, в чудеса — тем более. Когда у неё спрашивают: «Марфа Петровна, а как же душа?» — она отвечает: «Душа — это электромагнитная активность мозга. Прекращается активность — прекращается душа. Всё научно».

Николай поднял голову. В глазах мелькнуло что-то похожее на интерес.

— И что?

— А то, — сказала Агата, — что когда она уходила на пенсию, она завернула свой любимый микроскоп в байковую тряпочку и поставила на шкаф. Не пользовалась им двадцать лет. Но не выбросила. Я спросила: «Марфа Петровна, зачем вам микроскоп, если вы в него не смотрите?» А она говорит: «Не знаю. Рука не поднимается. Вдруг пригодится?»

Николай молчал.

— Не пригодится, — сказал он наконец. — Она же учёная. Понимает, что техника устаревает.

— Понимает, — кивнула Агата. — Но микроскоп стоит. Не потому, что она собирается в него смотреть. А потому, что он — часть её жизни. Часть её самой. Той Марфы Петровны, которая тридцать лет смотрела в окуляры и видела то, чего не видят другие. Микроскоп на шкафу — не инструмент. Это **память о зрении**.

Николай перевёл взгляд на икону.

— А это — память о вере? — спросил он.

— Это память о любви, — сказала Агата. — Ваш сын смотрел на этот лик и спрашивал, почему глаза грустные. Вы отвечали. Между вами было что-то. Не божественное — человеческое. Икона была свидетелем. Она не требует, чтобы вы в неё верили. Она просто помнит.

— А я? — голос Николая дрогнул. — Я помню. Но мне от этого не легче. Память — это не утешение. Память — это пытка.

— Потому что вы пытаетесь из неё что-то извлечь, — сказала Агата. — Утешение. Ответ. Смысл. А память не даёт ответов. Она просто держит. Как этот микроскоп на шкафу. Он не лечит, не открывает, не спасает. Он просто стоит. И этого достаточно.

Николай долго молчал. Пальцы его гладили оклад — медленно, почти ласково.

— И что мне с ней делать? — спросил он. — Оставить? Убрать? Отдать?

— А куда вам хочется?

— Не знаю. Я перестал понимать, чего я хочу. Три года я делаю то, что надо. Надо работать — работаю. Надо поддерживать жену — поддерживаю. Надо жить — живу. А хотеть… хотеть я разучился.

Агата встала, подошла к окну. На подоконнике, рядом с берестяной колыбелькой, стояла плошка с сухими семенами.

— Знаете, чем отличается живой от неживого? — спросила она, не оборачиваясь.

— Чем?

— Живое не знает, что будет завтра. Неживое — знает. Камень знает, что он будет камнем. Вода знает, что она будет течь. Огонь знает, что он будет гореть. А человек не знает. И это мучительно. Но это и есть жизнь.

Она повернулась.

— Вы три года пытались стать камнем. Чтобы не чувствовать, не хотеть, не бояться. У вас почти получилось. Но камень не страдает. Камень не держит икону три года, не зная, что с ней делать. Камень не говорит жене: «Я не знаю, кто я». Камень просто лежит. А вы — сидите здесь, пьёте чай и спрашиваете у незнакомой женщины, куда деть свою боль. Значит, вы не камень. Значит, вы живой.

Николай смотрел на неё. В глазах — не благодарность, нет. Что-то другое. Растерянность пополам с облегчением.

— И что мне теперь делать с этой… живостью? — спросил он.

— Для начала — разрешить ей быть, — сказала Агата. — Не прятать. Не заглушать. Не заменять работой и планом. Просто признать: «Я жив. Мне больно. Я не знаю, зачем это. И я не знаю, что будет завтра». Это самое трудное.

— А икона?

— Икона подождёт. Она три года ждала. Подождёт ещё.

Николай посмотрел на лик. Тот смотрел куда-то вглубь, поверх его плеча, поверх времени.

— Она не грустная, — вдруг сказал он. — Я думал, грустная. А она… усталая. Как будто держит что-то тяжёлое. И не может опустить руки.

— Может, и держит, — сказала Агата. — У каждого своя ноша.

Он сидел ещё долго. Чай остыл совсем. Котофей, нарушив все правила кошачьего этикета, спрыгнул с печи, запрыгнул к Николаю на колени и улёгся, вдавив нос в сгиб локтя.

Николай замер. Потом очень осторожно, неуклюже, будто впервые в жизни, положил ладонь на кошачью спину.

— Тёплый, — сказал он.

— Мурлыкает, — сказала Агата. — Значит, доверяет.

— А чему тут доверять? — усмехнулся Николай. — Я же камень.

— Камни не греют, — сказала Агата.

Он уходил, когда солнце уже клонилось к закату.

Икону нёс в руках, не заворачивая. Спросил на пороге:

— А Марфа Петровна — она до сих пор держит микроскоп на шкафу?

— Держит.

— И не смотрит в него?

— Не смотрит.

— А зачем?

— Я думаю, — сказала Агата, — она держит его не для того, чтобы смотреть. А для того, чтобы помнить: она — та, кто **умеет** смотреть. Даже если сейчас не смотрит.

Николай кивнул. Помолчал.

— Я позвоню жене, — сказал он. — Скажу, что сегодня не приду к ужину. Посижу в кабинете. Посмотрю на икону. Просто так. Без вопросов.

— Хорошо, — сказала Агата.

— Спасибо, — сказал он. И вышел.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №845.

Сегодня я думала о вере.

Николай не верит в Бога. Николай не верит в чудеса. Николай не верит даже в то, что ему когда-нибудь станет легче. Но он держит икону три года. Не потому, что ждёт помощи свыше. А потому, что эта икона — последний мост к сыну.

Вера — это не убеждённость. Вера — это ***удерживание связи****. Ты не знаешь, есть ли там кто-то. Ты не знаешь, услышат ли тебя. Но ты продолжаешь держать. Не из надежды — из верности.*

Марфа Петровна держит микроскоп. Николай держит икону. Елена держит колыбель. А я держу бересту, на которой пишу эти строки.

Мы все держимся за то, что когда-то было инструментом любви. Даже если инструмент сломался. Даже если мы забыли, как им пользоваться.

Может быть, вера — это и есть способность не выбрасывать сломанные инструменты.

Не потому, что они починятся. А потому, что они — часть нас.

Котофей рекомендует:

Случай Николая — классика. Человек перестал чувствовать, потому что чувствовать боль — невыносимо. Он построил бункер из фактов, графиков и «надо». Думал, что бункер защитит. А бункер стал тюрьмой.

Икона — это не ключ от тюрьмы. Икона — это окошко, через которое видно небо. Даже если ты не веришь, что небо существует. Даже если ты думаешь, что это просто стекло с картинкой. Ты всё равно смотришь. Потому что больше смотреть не на что.

Кошки в таких случаях не смотрят в небо. Кошки ложатся на колени. Потому что тепло живого тела убедительнее любой теологии.

Николай сегодня гладил кота. Впервые за три года прикоснулся к чему-то тёплому без цели, без пользы, без «надо».

Это и есть первый шаг из бункера.

Мяу.

Той же ночью Агате позвонила Марфа Петровна.

Это было настолько необычно, что Агата сначала не узнала голос в трубке — сухой, официальный, без интонаций.

— Агата. Извини за поздний звонок. Я хотела спросить…

Пауза. Долгая, непривычная. Марфа Петровна никогда не зависала в паузах.

— Ты сегодня рассказывала про меня какому-то мужику с иконой? Григорий наушничал, передал.

— Рассказывала, — сказала Агата. — Про микроскоп.

— Всё переврала небось?

— Ничего не переврала. Микроскоп на шкафу, двадцать лет, байковая тряпочка. Разве не так?

Марфа Петровна молчала.

— Так, — сказала она наконец. — Только ты не знаешь главного.

— Чего?

— Я в него иногда смотрю.

Агата замерла.

— Когда Гвидон был маленький, он вечно болел. Я сидела с ним ночами, градусник ставила каждые полчаса. А днём шла в лабораторию, смотрела в микроскоп. Клетки, бактерии, чужие болезни. Чёткие, понятные, излечимые. Я думала: «Вот где порядок. Вот где ясно». А вечером возвращалась домой, брала Гвидона за руку — и снова ничего не понимала. Почему одни дети выживают, а другие нет? Почему моя наука бессильна против температуры сорок? Почему я не могу починить собственного сына, как чинишь сломанный прибор?

Она говорила ровно, без надрыва. Как доклад читала.

— После смерти Гвидонового отца я перестала смотреть в микроскоп. Двадцать лет не подходила. Думала: зачем? Всё, что можно было увидеть, я уже увидела. А то, что нельзя — никаким микроскопом не разглядишь. Но выбросить не могла. Рука не поднималась.

— А сейчас? — спросила Агата.

— А сейчас иногда смотрю. Знаешь, пыль. Клетки пыли. Чешуйки кожи. Ворсинки. Всё, из чего состоит жизнь. Мусор, в общем. Но красивый. Как звёздное небо, только под стеклом. Я смотрю и думаю: «Вот ты какая, материя. Вот как ты устроена». И мне почему-то спокойно.

Агата молчала.

— Ты это к чему, Марфа Петровна? — спросила она наконец.

— К тому, — сказала свекровь, — что этому твоему Николаю передай: не обязательно выбирать. Можно и верить, и не верить. Можно и держать, и не смотреть. Можно иконы на шкаф ставить, а микроскопы — на полку. Ничего не ломается от этого. Жизнь вообще очень прочная штука. Прочнее, чем мы думаем.

Она помолчала.

— И чай у тебя, Агата, отвратительный. Травы сыплешь горстями, вкуса не чувствуешь. Заварку нормальную купи, индийскую, в пачке. Гвидон знает, какую.

— Куплю, — сказала Агата.

— Ну всё. Я спать.

— Спокойной ночи, Марфа Петровна.

— Агата.

— Да?

— Ты это… не бери в голову. Я не занудствую, я забочусь.

— Знаю.

— Знаешь, а молчишь. Ладно, бывай.

Гудки.

Агата положила трубку и долго смотрела в окно.

— Котофей, — сказала она. — Марфа Петровна только что призналась, что смотрит в микроскоп.

— Я слышал, — сказал кот, не поднимая головы. — Я вообще всё слышу. У меня уши — локаторы.

— И что ты думаешь?

— Думаю, что она стареет.

— Это не старение. Это…

— Что?

— Не знаю. Оттепель?

— Мяу, — сказал Котофей. — Оттепель. Хорошее слово. Только не говори ей. Она загордится.

Агата усмехнулась.

В углу, на полке, стояла икона. Не Николая — своя, старая, доставшаяся от бабушки. Тёмная доска, едва различимый лик. Агата редко на неё смотрела. Не потому, что не верила. Просто не знала, о чём спрашивать.

— Знаешь, — сказала она тихо, — я тоже иногда в неё смотрю. Не молюсь. Просто смотрю. И мне кажется, что она… не ждёт от меня ничего. Ни веры, ни покаяния, ни просьб. Просто смотрит в ответ. И это… достаточно.

— Кому достаточно? — спросил Котофей.

— Нам обеим, — сказала Агата.

Ночью Агате приснился Антоша.

Не тот Антоша, каким он был в тридцать один — взрослый, спортивный, с планами на жизнь. А тот, маленький, пятилетний, с любопытными глазами и вечно разбитыми коленками.

— Папа сказал, что у дяди глаза грустные, — сказал Антоша, разглядывая икону. — А я думаю, он не грустный. Он просто смотрит долго-долго. Когда долго смотришь, глаза устают. У мамы тоже устают, когда она за мной из окна смотрит. А я машу, и она улыбается.

Агата хотела спросить его о чём-то важном, но он уже убегал — по тропинке, в лес, в тот свет, который за иконой.

Она проснулась с ощущением, что её кто-то держит за руку.

Никого не было.

Только Котофей, дышащий в ухо.

— Ты разговаривала во сне, — сказал он. — Спрашивала: «Где там твой свет?»

— И что я ответила?

— Ты не отвечала. Ты слушала.

Агата полежала ещё немного, глядя в потолок.

— Котофей.

— Мяу.

— Как думаешь, там есть свет?

— Где?

— Там. Где Антоша. Где моя Рябина. Где все, кто ушёл до нас.

Кот долго молчал. Потом сказал:

— Я не знаю. Я только кот. Я вижу в темноте, но не так далеко. Но знаешь, что я заметил?

— Что?

— Те, кто ушёл, всё равно остаются. Не в виде призраков — в виде вопросов. Антоша оставил отцу вопрос: «Почему глаза грустные?» Твоя Рябина оставила тебе вопрос: «Куда деть любовь, у которой нет адреса?» Марфа Петровна оставила сыну вопрос: «Как жить, когда наука бессильна?»

— И что нам с этими вопросами делать?

— Жить с ними, — сказал Котофей. — Не отвечать. Просто носить в кармане. Иногда доставать, рассматривать. Иногда забывать на месяц. Иногда находить в старой куртке. Это и есть память. Не ответы. Вопросы, которые не умирают.

Агата кивнула.

За окном занимался рассвет.

Николай позвонил через неделю.

— Я поставил икону в кабинет, — сказал он. — Не на шкаф, на стол. Рядом с компьютером. Жена говорит: «Ты с ума сошёл, это же пыль, масло, техника». А я говорю: «Ничего, она старая, выдержит».

— И как вам работается? — спросила Агата.

— Нормально. Привыкаю. Иногда смотрю на неё в перерывах. Не молюсь. Просто смотрю. Потом снова черчу. Коэффициенты, допуски, сроки поставок. И знаете… они перестали быть такими важными. Не потому, что я разлюбил работу. А потому, что рядом с этой… вечностью — допуски кажутся меньше. И это почему-то не страшно, а удобно. Как будто у тебя есть линейка, которой можно мерить бесконечность.

— Это хорошая линейка, — сказала Агата.

— Да, — сказал Николай. — Спасибо.

Он помолчал.

— Я сегодня Антоше снился. Впервые за три года. Не он мне — я ему. Я вхожу, а он сидит за столом, что-то чертит. Поднимает голову и говорит: «Пап, у тебя глаза не грустные. Ты чего?» А я говорю: «Так я же на тебя смотрю». Он улыбнулся и сказал: «Ну смотри».

Пауза.

— Извините, мне пора. Жена завтрак стынет.

— Идите, — сказала Агата. — Спасибо, что позвонили.

— Это вам спасибо. За микроскоп.

— Это не мне. Это Марфе Петровне.

— Передайте ей. Я, может, зайду как-нибудь. Не к вам — к ней. Чай попить. Индийский, в пакетиках. Она пьёт такой?

— Она пьёт только индийский. В пакетиках.

— Договорились.

Гудки.

Агата посмотрела на подоконник. Колыбелька стояла на месте. Рядом с ней, в плошке, проклюнулся первый росток — не пойми откуда, не пойми чего. Может, семечко из сухих трав проросло. Может, просто лес решил, что здесь нужна зелень.

— Ну здравствуй, — сказала Агата ростку. — Ты чей?

Росток не ответил. Но тянулся к свету.

Глава 3

Мальчик, который хотел быть стеклом

Или о том, что выключатель не спасает от темноты

Они пришли порознь.

Сначала — мать. Маленькая, стремительная, с лицом человека, который привык тушить пожары голыми руками. Она влетела в избу, даже не постучавшись, окинула взглядом печь, травы, кота и выдала скороговоркой:

— Яга, у меня сын наркоман, четвертый год, лечили, кодировали, молились, бабки возили — всё бесполезно, выходит, срывается, выходит, срывается, я уже думала к экстрасенсу, но экстрасенс сказал «поздно», а я не верю, я не могу поверить, что поздно, он же ещё живой, он дышит, ест, разговаривает, только иногда такой странный, будто стеклянный, будто смотрит сквозь меня, скажите, что делать, я всё сделаю, деньги есть, я заплачу, только скажите.

Агата слушала молча. Не перебивала. Когда словесный поток иссяк, она спросила:

— Чай?

— Что? Нет, какой чай, вы не понимаете, ему завтра нужна доза, а у меня денег больше нет, я всё продала, серьги бабушкины, шубу, даже дачу, а он говорит: «Мам, последний раз, я завяжу», и я снова верю, потому что он мой сын, как я могу не верить?

— Чай, — повторила Агата. — С мятой. И сядьте.

Женщина села. Не потому, что послушалась, — ноги подкосились.

— Лидия, — сказала она. — Меня зовут Лидия.

Она взяла чашку, обхватила ладонями, прижала к груди, будто грелась. Август на дворе стоял тёплый, но её трясло.

— Расскажите про сына, — сказала Агата. — Не про болезнь. Про него.

— Про него, — эхом отозвалась Лидия. — Про него я уже забыла, как рассказывать. Раньше он был… яркий. Знаете, бывают дети — как лампочка. Войдёт в комнату — и сразу светло. Улыбчивый, шумный, друзей полно. Рисовал. Я думала, художником станет. А он пошёл на программиста, сказал, так надёжнее. А потом — институт, первая любовь, девочка красивая, он мне фотографию показывал, я так радовалась… А потом она ушла к другому. И он… погас.

— Погас?

— Не сразу. Сначала просто стал тихий. Потом перестал выходить из комнаты. Потом — из дома. Я думала: депрессия, пройдёт. Водила к психологу. Он сидел, молчал, потом сказал: «Мам, не трать деньги, мне ничего не поможет». А через полгода я нашла у него в столе шприцы.

Она замолчала. Пальцы её побелели на чашке.

— Знаете, что он мне сказал, когда я его спросила «зачем»? Он сказал: «Мам, ты помнишь, как в детстве у меня была стеклянная фигурка? Лошадка. Я её уронил, она разбилась, я плакал три дня. А ты сказала: «Не плачь, склеим». И склеила. Но швы были видны. И внутри осталась пустота. Я смотрел на неё и думал: «Вот я такой. Склеенный. С пустотой внутри». А когда я укололся первый раз, пустота… заполнилась. Ненадолго. Но я перестал чувствовать швы.

Лидия смотрела в чашку. Не плакала. Слез уже не было — вытекли за четыре года.

— Я не знаю, как склеить его теперь, — сказала она. — Я пробовала всё. Любовью — не клеится. Строгостью — только хуже. Деньгами — он их просто тратит на дозу. Уговорами —

кивает, а глаза пустые. Я уже не хочу, чтобы он стал художником или программистом. Я хочу, чтобы он просто… был. Живой. Здесь. Со мной.

Агата молчала долго. Потом встала, подошла к полке, взяла что-то и вернулась к столу.

— Это, — сказала она, кладя перед Лидией маленький медный колокольчик, — не лекарство. Это просто звук. Когда он позвонит — не мне, себе — пусть послушает, пока звук не стихнет. Это долго. Почти минуту.

Лидия смотрела на колокольчик непонимающе.

— И что это даст?

— Не знаю, — честно сказала Агата. — Может, ничего. А может, он услышит, что в тишине после звука — не пустота. А просто… тишина. В ней можно дышать. Выключатель не нужен.

Она не ждала, что сын придёт.

Но он пришёл. Через три дня. Сам.

Высокий, худой до прозрачности, в мятом свитере, который висел на нём как на вешалке. Волосы длинные, немытые, падают на глаза. Глаза — больные, с расширенными зрачками, но странно — ясные.

— Денис, — сказал он, садясь на лавку. Без спроса, без «можно». Просто сел, будто ноги перестали держать. — Моя мать была у вас. Она притащила этот дурацкий колокольчик. Я сначала хотел выбросить. А потом позвонил.

— И что? — спросила Агата.

— Звук был долгий. Я не ожидал. Думал, дзынь — и всё. А он висел в воздухе. Я слушал и не мог понять: это я звоню или это во мне звенит? Потом звук кончился. Стало тихо. Я сидел и ждал, когда накатит. Знаете, это чувство, когда кайф кончается и ты падаешь в яму. Всегда падаешь. А тут — не упал. Просто сидел в тишине. И не хотелось ничего включать.

Он замолчал. Смотрел в пол. Пальцы теребили край свитера — нитка вылезла, он её накручивал, раскручивал, снова накручивал.

— Это не работает, — сказал он. — Я знаю, что не работает. Завтра снова захочу. Послезавтра — тоже. Я не верю в чудеса. Я просто… устал. Четыре года бегать по кругу. Четыре года врать матери, что это в последний раз. Четыре года смотреть в потолок и думать: «Вот бы нажать кнопку и выключить всё». А тут не надо нажимать. Звук сам кончился. И тишина сама пришла. Я не звал её.

— А чего вы хотите на самом деле? — спросила Агата.

Денис поднял голову. Взгляд — не стеклянный, не пустой. Удивлённый.

— Никто не спрашивал, — сказал он. — Все спрашивали: «Чего ты колешься?», «Чего ты матери делаешь?», «Чего тебе не хватает?». А просто — чего я хочу — не спрашивали. Я и сам не знаю.

— Ну так подумайте.

Он думал долго. Минуту. Пять. Котофей, нарушив все приличия, спрыгнул с печи, подошёл, ткнулся носом в колено. Денис вздрогнул, но руку опустил — машинально, как в детстве, когда гладил дворовых котов.

— Я хочу… — сказал он медленно, — чтобы перестало болеть. Не тело — душа. Знаете, когда у тебя внутри открытая рана, и ты трогаешь её языком — все трогают, все спрашивают, все лечат, а она не заживает. И ты находишь вещество, которое её замораживает. Ненадолго. Потом лёд тает, и рана становится ещё больше. Но пока ты заморожен — ты свободен. От себя. От прошлого. От того, что Лена ушла. От того, что я никому не нужен, кроме мамы, а мама — это чувство долга, а не любовь, я же чувствую.

— Она любит, — сказала Агата.

— Знаю. Но я не чувствую. Я вообще ничего не чувствую уже давно. Только когда уколюсь. Или когда звенит колокольчик. Странно, да? Звук — как наркотик. Только без иглы.

— Не странно, — сказала Агата. — Звук — это вибрация. Вибрация лечит. Кошки мурлыкают — кости срастаются. Колокола звонят — пространство очищается. Вы просто нашли свою частоту. Не ту, которая убивает. Ту, которая держит.

Денис посмотрел на кота. Кот смотрел в ответ.

— Можно я ещё позвоню? — спросил Денис.

— Колокольчик ваш. Матери я отдам другой.

— А можно я здесь посижу? Не звоня. Просто посижу.

— Сиди.

Он сидел до вечера. Не говорил ничего. Смотрел в огонь. Кот лежал у него на коленях. Иногда Денис гладил его — медленно, рассеянно, будто вспоминал, как это делается.

Когда стемнело, он встал.

— Я пойду, — сказал он. — Мама волнуется. Спасибо.

— За что?

— Не знаю. За кота, наверное.

Он ушёл. Агата смотрела в окно, как его худая, сутулая фигура растворяется в сумерках.

— Думаешь, вернётся? — спросил Григорий из-за печи.

— Не знаю, — сказала Агата. — Может, да. Может, нет.

— А колокольчик?

— Колокольчик у него. Его дело — звонить или молчать.

Зоя пришла на следующий день.

Она вообще стала приезжать чаще. Раньше — раз в месяц, отчётом: «Мам, у меня всё хорошо, проект сдала, премию дали, носки не разбрасываю, честно». Теперь — просто так. Садилась на лавку, пила чай, молчала. Агата не спрашивала. Ждала.

— Я вчера была у Фила, — сказала Зоя, глядя в кружку. — Он мне показывал свою новую разработку. Искусственный интеллект, который распознаёт эмоции по глазам. Для людей, которые не могут говорить. Для аутистов, для инсультников. Я смотрела и думала: «Господи, какой же он умный». А потом подумала: «А я? Что я умею?»

— Ты много чего умеешь, — сказала Агата.

— Я умею делать дела. Быстро, качественно, в срок. Меня за это ценят, повышают, платят деньги. Но когда я закрываю ноутбук, внутри — пустота. Не усталость — пустота. Как будто я не живу, а расходую себя. Как батарейку. Вставила — отработала — вынула. И никакого смысла, кроме следующей вставки.

Агата молчала.

— Я думала, это называется «быть успешной», — сказала Зоя. — А вчера слушала про этого мальчика, наркомана, и поняла: мы с ним одно и то же делаем. Только он колит себе вещество, а я — дела, проекты, гонку. Чтобы не чувствовать пустоту. Чтобы не спрашивать себя: «А зачем всё это?» Я думала, я сильная. А я просто… заглушаю тишину.

Она подняла глаза. В них стояли слёзы — редкие гостьи на лице старшей дочери, привыкшей «держать лицо».

— Мам, а что там, в тишине? Если её не заглушать?

— Не знаю, — сказала она. — Я сама только учусь туда заходить.

— И как?

— Страшно. Там нет списка дел. Нет планов. Нет «надо». Только ты и твоё дыхание. И кажется, что если ты остановишься — мир рухнет. А он не рушится. Он просто… есть. Без твоего участия.

Зоя молчала долго.

— Можно я тоже попробую? — спросила она.

— Что?

— Ничего не делать. Час. Просто сидеть с тобой и смотреть в окно.

— Садись.

Они сидели рядом, смотрели, как за окном падают листья. Котофей, удивлённый такой статичностью, запрыгнул к Зое на колени и замурлыкал.

Через полчаса Зоя сказала:

— Знаешь, а тишина не пустая. Она… густая. Как кисель. В ней можно плавать.

— Плавай, — сказала Агата.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №846.

Сегодня я увидела зависимость иначе.

Всегда думала: зависимость — это про слабость. Про неспособность сказать «нет». Про дыру в душе, которую затыкают веществом. Но Денис не слабый. Он просто слишком хорошо чувствует боль. Его рана открыта, и каждый день мир сыплет в неё соль. Наркотик — не наслаждение. Наркотик — анестезия. Он не ищет кайфа. Он ищет выключатель.

Зоя — та же история. Только её выключатель — бесконечные дела. Она не чувствует боли, пока бежит. Но бег — не жизнь. Бег — это отсрочка.

В йога-сутрах есть понятие клеша — корень страдания. Их пять, и все они завязаны на неверном восприятии реальности. Но сегодня я думаю о другом: страдание — не враг. Страдание — сигнал. «Здесь болит, значит, здесь живое». Зависимость — это попытка отключить сигнал. Выдернуть батарейки из пожарной сирены.

Но сирена — не причина пожара. Сирена — напоминание.

Лечение — не в том, чтобы выдернуть батарейки. Лечение — в том, чтобы увидеть огонь и решить: тушить или выходить.

Денис сегодня первый раз за четыре года не выдернул батарейки. Он послушал звон. И услышал тишину.

Этого недостаточно, чтобы потушить пожар. Но достаточно, чтобы перестать бояться сирены.

Котофей рекомендует:

Кошки знают о зависимости всё. Потому что кошки — профессиональные гедонисты. Мы любим валерьянку, сметану, тёплые колени. Но мы никогда не становимся рабами удовольствия. Почему? Потому что мы всегда оставляем себе путь к отступлению.

Кошка, объевшаяся сметаны, не будет есть её до рвоты. Она отойдёт, вылижется, уснёт. На следующий день снова подойдёт к миске — но уже с чистым интересом, не с голодным безумием.

Человек устроен иначе. Человек хочет, чтобы удовольствие никогда не кончалось. И в этом его трагедия.

Денис не кошка. Он не умеет вовремя отойти. Но сегодня он впервые услышал звук колокольчика и не побежал за дозой. Он остался в тишине. Это не победа над зависимостью. Это первый шаг к тому, чтобы перестать быть её рабом.

Кошки одобряют.

Мяу.

Денис пришёл снова через неделю.

Не один — с матерью. Лидия сидела на лавке, сцепив пальцы, и смотрела на сына так, будто боялась, что он испарится.

— Я три дня не кололся, — сказал Денис. — Не геройство — просто не хотелось. Сидел, звонил в колокольчик, слушал. Мать ходила вокруг, боялась спросить. Потом не выдержала: «Ты заболел?» А я говорю: «Нет, мам, я, кажется, выздоравливаю». Она заплакала. Я не помню, когда она в последний раз плакала при мне. Обычно она плачет в ванной, чтобы я не слышал.

Лидия всхлипнула, но смолчала.

— Я не знаю, надолго ли это, — сказал Денис. — Может, завтра сорвусь. Может, через час. Но сегодня я здесь, и мне не хочется умирать. Впервые за четыре года не хочется.

— Этого достаточно, — сказала Агата. — Сегодня — достаточно.

— Я думал, вы скажете: «Надо закодироваться, лечь в клинику, начать новую жизнь». Все так говорят.

— Новая жизнь не начинается с понедельника, — сказала Агата. — Новая жизнь начинается с одной минуты, в которую ты не сделал того, что делал всегда. Потом ещё одна минута. Потом час. Потом день. А потом ты просыпаешься и понимаешь, что старая жизнь кончилась, а ты даже не заметил, когда.

— И что мне делать в эти минуты?

— Жить. Дышать. Смотреть в окно. Гладить кота. Звонить в колокольчик. Не искать смысл — он сам найдёт тебя, когда перестанешь бежать.

Денис кивнул. Посмотрел на свои руки — худые, с синими следами вен.

— Я, наверное, никогда не стану художником, — сказал он. — Руки уже не те. Дрожат.

— А ты не рисуй руками, — сказала Агата. — Рисуй тем, что видишь. У тебя глаза остались. Ими можно рисовать.

— Как это?

— Смотри на мир и запоминай. Цвет неба в шесть утра. Как падает лист. Как кот щурится на солнце. Это тоже искусство. Не для продажи — для жизни.

Денис смотрел в окно. За окном — серое небо, мокрые ветки, суета синиц у кормушки.

— Синица, — сказал он. — Жёлтая грудка. Головой крутит, будто дирижирует.

— Видишь, — сказала Агата. — Уже рисуешь.

Лидия подошла к ней перед уходом.

— Яга, — сказала она тихо, — я всё боялась, что вы скажете: «Отпустите его, он взрослый, пусть сам разбирается». А вы не сказали.

— Не сказала, — кивнула Агата.

— Почему? Я же понимаю, что я не спасаю его, а держу. Что моя тревога — как верёвка на шее. Что ему нужна свобода, а не материнский надзор. Я всё понимаю головой. А сердцем — не могу отпустить. Это слабость?

— Это любовь, — сказала Агата. — Только не всякая любовь — крылья. Иногда любовь — это инвалидная коляска. Не стыдно пользоваться, когда ноги не идут. Стыдно — притворяться, что идут.

Лидия смотрела на неё долго. Потом кивнула.

— Я никогда не думала об этом так, — сказала она. — Я думала: любовь — это чтобы он был счастлив. А вы говорите: любовь — это чтобы он выжил. Разве это не меньше?

— Это не меньше, — сказала Агата. — Это другая форма. Как чайник и кружка. Одно греет, другое держит. Нельзя сказать, что важнее.

Лидия ушла. Денис ждал её на крыльце — курил, глядя в лес. Она взяла его под руку, и они пошли по тропинке вместе. Медленно, как два старых, уставших человека. Хотя Денису было всего двадцать четыре.

Клиентский кейс №3. Тема: Химическая зависимость, созависимость матери, поиск анестезии от боли существования. Используемые метафоры: выключатель; колокольчик как альтернативная частота; стеклянная лошадка со швами; бег как отсрочка. **Ключевая сутра (скрытая):** *Дуккха — страдание как свойство существования*. Денис не пытается убежать от страдания — он пытается убежать от его осознания. Йога учит не избегать боли, а менять отношение к ней. Колокольчик — не анестезия, а **переключение внимания**. **Результат:** Первый опыт трезвости, мотивированный не страхом и не уговорами, а любопытством. Признание: «я не хочу умирать». **Работа Агаты с собой:** Через Зою увидела собственный «бег» — в спасательство, в роль, в необходимость быть нужной. Начала практику «ничегонеделания» вместе с дочерью.

Ночью Агата сидела у печи и перебирала сухие корни.

Котофей, как обычно, оккупировал её колени.

— Знаешь, — сказала она, — я думала, что главное в моей работе — найти правильные слова. А сегодня Денис сказал: «Я три дня не кололся, потому что услышал звон и захотел услышать, как он кончается». Я не говорила ему никаких правильных слов. Я просто дала колокольчик.

— Мяу, — сказал Котофей. — Иногда достаточно просто дать колокольчик. И отойти в сторону.

— А если он сорвётся?

— Сорвётся. Это не отмена того, что было. Сегодня у него был один чистый день. Завтра будет ноль. Послезавтра — снова один. Потом два. Потом неделя. Потом месяц. График не всегда прямой.

— Я боюсь за него.

— Ты боишься за всех. Это твоя работа — бояться и не сходить с ума от этого страха.

Агата вздохнула.

— Устала бояться.

— Тогда не бойся. Просто смотри. Как на график. Сегодня — одна точка. Завтра — другая. Точки складываются в линию. Линия — в судьбу. Твоя задача — не чертить эту линию. Твоя задача — видеть её.

Агата смотрела в огонь.

— Ты прав, — сказала она. — Чёртов кот.

— Чёртова Яга, — парировал Котофей. — Мы ещё поживём.

Через месяц Денис прислал письмо.

Не на бересте — в мессенджер, от Филина переслали. Филин сконструировал для него что-то вроде дневника наблюдений — приложение, куда можно было загружать фото и короткие заметки.

«27 сентября. 7:23. Солнце встаёт в тумане. Синица прилетела одна. Я насыпал пшена. Она не боится — садится на край кормушки и смотрит. Я сижу на подоконнике и смотрю в ответ. Мы друг друга не понимаем, но это нормально.

30 сентября. 16:45. Три недели без срывов. Мама перестала проверять мои карманы. Я купил акварель. Руки дрожат, линия кривая. Нарисовал колокольчик. Получилось похоже на лягушку. Лягушка с колокольчиком — это мой тотем. Мама повесила рисунок на холодильник.

4 октября. 22:10. Сегодня очень хотелось. Не знаю почему — просто накатило. Я взял колокольчик, вышел на балкон и звонил, пока соседи не застучали по батарее. Потом вернулся в комнату и лёг спать. Утром проснулся — и забыл, что хотел. Странно. Раньше это чувство не отпускало сутками. А тут — звук, и всё.

9 октября. 13:30. Яга, спасибо за колокольчик. И за то, что не сказали «выздоравливай». Я не знаю, выздоравливаю ли я. Но я перестал ждать, что стану прежним. Тот Денис, который рисовал и улыбался, разбился, как та стеклянная лошадка. Я его склеил — видны швы. Внутри пустота. Но я её теперь не замазываю. Я просто живу с пустотой. И знаете, она не мешает. Иногда в неё даже падает свет».

Агата перечитала письмо три раза. Потом убрала телефон и посмотрела на подоконник.

Колыбелька стояла на месте. Рядом с ней, в плошке, уже вовсю зеленел росток — неизвестно откуда взявшийся, неизвестно чей.

— Ты слышал? — спросила она кота.

— Мяу.

— У него пустота. И он не боится.

— Это называется «впустить», — сказал Котофей. — Раньше он затыкал пустоту веществом. Потом перестал затыкать. Пустота осталась. Но она перестала быть дырой. Стала пространством.

— Красиво сказано.

— Я кот. Я обязан изредка говорить красиво, чтобы вы, люди, не забывали, кто здесь главный философ.

Агата улыбнулась и погладила его.

За окном падал лист. За ним — другой. Лес готовился к зиме.

В избушке было тепло.

Глава 4

Сын, который стал чужим
Или о том, что лес говорит на языке кода, если уметь слушать

Гвидон пришёл вечером.

Не царём — мужем. Сел на лавку тяжело, будто мешок с камнями скинул с плеч, а внутри всё равно осталось. Руки положил на колени ладонями вверх — растерянно, по-детски. Агата таких рук у него не видела давно. Лет двадцать, наверное. С тех пор как Злата родилась и он впервые взял на руки это крошечное, хрупкое тело и понял, что его сила тут бессильна.

— Я не знаю, как с ним говорить, — сказал Гвидон. — С Филом.

Он не смотрел на неё. Смотрел в пол, на половицу, которую Григорий никак не мог починить — всё скрипела, зараза.

— Я прихожу к нему в комнату. Стою в дверях. Он сидит за своим кристаллом, пальцы бегают, глаза в экран. Я говорю: «Сын». Он говорит: «Сейчас, пап, минуту». Я стою минуту. Потом две. Потом он выныривает, смотрит на меня — и я вижу: он уже забыл, что я здесь. Спрашивает: «Ты что-то хотел?» А я… не знаю, что я хотел. Увидеть его. Услышать. Чтобы он на меня посмотрел не как на задачу, которую нужно решить, а как на…

Он замолчал. Подбирал слово.

— Как на отца, — закончила Агата.

Гвидон кивнул.

Агата смотрела на мужа. На его седую бороду, в которой раньше не было седины, а теперь — хоть косой коси. На морщины вокруг глаз — не от смеха, от прищура: всматривался вдаль, границы стерёг, врагов высматривал. А тут враг невидимый, в собственном доме, в собственном сыне, и никаким мечом его не достать.

— Я пробовал по-всякому, — сказал Гвидон. — Говорил о деле: «Как там твоя защита, надёжно ли лес от цифровых напастей стережёшь?» Он отвечает: «Нормально, пап». И всё. Я спрашиваю: «Может, в лес сходим, на лыжах?» Он говорит: «Холодно». Я говорю: «Рыбалка скоро». Он говорит: «Скучно». Я злюсь, говорю: «Что тебе не скучно? В этих твоих экранах не скучно?» Он молчит. Потом говорит: «Пап, ты не поймёшь». И уходит к себе.

Голос у Гвидона дрогнул. Совсем чуть-чуть, на одной ноте. Агата услышала.

— Я всю жизнь думал: главное — вырастить детей, чтобы были сыты, одеты, в безопасности. Чтобы знали: за ними стена, за стеной — отец, за отцом — лес, и никто не тронет. Я для этого жил. А теперь смотрю на Филина и думаю: я ему не нужен. У него свои стены. Из кода. Я в них войти не могу. Я даже ключа не знаю.

— Он тебя не пускает или ты не просишь? — спросила Агата.

Гвидон поднял голову.

— Как не прошу? Я каждый раз прошу. Каждым своим «как дела» я прошу: «Впусти меня».

— Ты просишь словами, — сказала Агата. — А он отвечает на другом языке. Ты слышишь «нормально, пап» — и думаешь, что это ответ. А это только перевод. Плохой, корявый, машинный. Он пытается перевести для тебя свою жизнь с языка кода на язык леса, и у него не получается. А ты злишься на перевод, вместо того чтобы выучить его язык.

Гвидон молчал. Смотрел на свои руки.

— Я старый, — сказал он. — Мне новые языки уже не учатся.

— Неправда, — сказала Агата. — Ты выучил язык Златы. Когда она родилась, ты не знал, как с ней быть. Она не говорила, не смотрела в глаза, не просилась на руки. А ты научился.

Сидел рядом, молчал, ждал. Глазами с ней говорил. Она выросла и заговорила с тобой — не потому, что ты её научил, а потому что ты ждал.

— Злата — другое. Она маленькая была, беззащитная. А Фил взрослый. Он сам выбрал уйти в свой мир.

— Он не уходил, — сказала Агата. — Он строил мост. Всю жизнь строил. Просто ты не видел стройку, потому что она была не в лесу, а у него в голове.

Гвидон посмотрел на неё долгим, тяжёлым взглядом.

— Ты правда так думаешь?

— Я знаю.

— —

Она нашла Фила в его комнате.

Не в избе — у Фила была своя комната, отдельный вход, чтобы не мешать матери с клиентами, а отцу — с царскими делами. Агата вошла без стука. Он не обернулся — сидел перед своим кристаллом, пальцы порхали над клавишами, на экране бежали строчки кода.

— Две минуты, мам, — сказал он не оборачиваясь.

— Нет, — сказала Агата. — Сейчас.

Фил замер. Пальцы зависли над клавиатурой. Он медленно повернулся.

— Что-то случилось?

— Случилось. Твой отец сидит в избе и не знает, как ему с тобой говорить. Это для тебя ничего не случилось?

Фил смотрел на неё. Лицо — спокойное, ровное, как у человека, привыкшего анализировать, а не чувствовать. Но пальцы — пальцы он убрал с клавиатуры и сцепил в замок.

— Я не знаю, что ему сказать, — сказал Фил. — Я пробовал. Всё, что мне интересно, ему неинтересно. Всё, что ему важно, мне кажется… неважным. Я не хочу его обидеть. Я просто не умею притворяться.

— А надо притворяться?

— А что ещё делать? Говорить с ним о коде? Он не поймёт. Говорить о лесе? Мне неинтересно.

— Тебе неинтересно, — повторила Агата. — Или ты никогда не пробовал смотреть на лес его глазами?

Филин молчал.

— Знаешь, что он сказал мне сегодня? — спросила Агата. — Он сказал: «Я ему не нужен. У него свои стены, из кода, я в них войти не могу».

Филин дёрнулся, будто её слова ударили током.

— Это неправда.

— Скажи это ему.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что… — он замолчал, подбирая слова. — Потому что если я скажу, что он мне нужен, мне придётся признать, что я сам построил эти стены. Что я спрятался за кодом, потому что боялся, что он не поймёт. А если он не поймёт — значит, я чужой в этом доме. Значит, я не его сын.

Агата смотрела на сына. На его прямую спину, на сведённые плечи, на пальцы, вцепившиеся друг в друга мёртвой хваткой.

— Ты думаешь, — сказала она тихо, — что быть его сыном — это говорить на его языке?

— А разве нет?

— Нет, — сказала Агата. — Быть его сыном — это хотеть, чтобы он тебя понял. Даже если не получается. Даже если вы оба корявые переводчики. Даже если единственное, что вы можете сделать — это сидеть рядом и молчать в сторону одного костра.

Филин молчал долго. Потом спросил:

— А если я не умею сидеть и молчать? Если мне нужен экран, задача, код — чтобы чувствовать, что я живу?

— Это не вопрос умения, — сказала Агата. — Это вопрос выбора. Ты выбираешь каждый раз, когда отец стоит в дверях, а ты говоришь «сейчас, минуту». Ты выбираешь не обернуться. Не посмотреть. Не дать ему шанс войти.

— А если он войдёт и не поймёт?

— А если поймёт?

Филин посмотрел на экран. Там, на чёрном фоне, бежали строки — стройные, логичные, предсказуемые. Мир, в котором всё работает по правилам. Где ошибку можно найти, исправить, перезапустить.

— Я покажу ему свою работу, — сказал Филин. — Не знаю зачем. Просто покажу. А он пусть сам решает, смотреть или нет.

— Смотреть, — сказала Агата. — Он будет смотреть. Он всю жизнь только и делает, что смотрит на тебя. Даже когда ты думаешь, что он смотрит в лес.

— —

Он пришёл к отцу сам.

Не позвал — вошёл в избу, сел напротив, положил на стол планшет. Гвидон смотрел на экран, на бегущие строчки, на графики и схемы — и ничего не понимал.

— Это, — сказал Фил, — программа распознавания эмоций. Я делаю её для людей, которые не могут говорить. Инсульт, аутизм, тяжёлая депрессия. Человек смотрит в камеру, а алгоритм считывает микродвижения глаз, губ, бровей и переводит их в текст. «Мне больно», «Я устал», «Я хочу пить», «Я рад тебя видеть».

Гвидон смотрел на экран. Потом на сына.

— Зачем ты мне это показываешь? — спросил он.

— Потому что это всё, что я умею, — сказал Фил. — Строить мосты для тех, кто не может говорить. А для тебя — не построил. Ты умеешь говорить. Ты всегда умел. А я не умел слушать. Или умел, но боялся.

Гвидон молчал.

— Когда я был маленький, — сказал Фил, — ты брал меня в лес. Показывал следы, учил различать птиц по голосам. Я не понимал тогда, зачем мне это. Мне хотелось домой, к компьютеру. А сейчас я думаю: ты учил меня смотреть. Не на экран — на мир. А я вырос и смотрю только в экран. И мне стыдно, что я не оправдал.

— Ты ничего не должен оправдывать, — сказал Гвидон. Голос у него сел, просел, стал чужим. — Ты не моё продолжение. Ты — сам по себе. Я просто хотел, чтобы ты знал, что лес — это тоже дом. Не единственный, не главный. Но ты всегда можешь вернуться. И я буду там.

Фил смотрел на него. Долго. Потом подвинул планшет ближе.

— Смотри, — сказал он. — Вот здесь алгоритм анализирует зрачок. Когда человек видит что-то знакомое, зрачок расширяется на миллисекунду раньше, чем мозг успевает осознать «я это знаю». Это почти неуловимо, но камера ловит. И машина говорит: «Ты его узнал. Ты его помнишь. Ты не один».

Гвидон смотрел на экран. На графики, на цифры, на бессмысленные для него строки кода.

— Красиво, — сказал он. — Как северное сияние.

Филин замер.

— Ты видишь здесь северное сияние?

— Я вижу, — сказал Гвидон, — что ты вложил в это душу. Я не понимаю, как это работает, но я вижу, что это — ты. Твой ритм. Твой рисунок. Ты всегда, когда был маленький,

рисовал завитушки на полях. Я спрашивал: «Что это?» Ты говорил: «Это ветер». А это был не ветер. Это был код. Ты просто не знал тогда, как он называется.

Филин смотрел на отца. И впервые за много лет — не анализировал, не просчитывал, не переводил с языка чувств на язык логики. Он просто… видел.

— Пап, — сказал он. — Я скучал.

Гвидон кивнул. Молча. Потом протянул руку и положил на плечо сына. Тяжёлую, узловатую, пахнущую лесом и смолой.

— Я тоже, сын. Я тоже.

— —

Методическая врезка.

Дневник Яги. Запись №847.

Сегодня Гвидон сказал про код: «Красиво, как северное сияние».

Я думала об этом весь вечер. Он не понял ни строчки. Он не знает, что такое нейросети и алгоритмы распознавания. Но он увидел главное: ритм. Рисунок. Душу, вложенную в строки.

Фил пятнадцать лет думал, что отец не понимает его мир. А отец просто смотрел на этот мир — и видел в нём продолжение того мальчика, который рисовал ветер на полях тетради.

Мы так много говорим о «разных языках». О том, что дети и родители говорят на разных наречиях, живут в разных реальностях, строят разные стены. А правда проще: любовь — это не знание языка. Любовь — это готовность смотреть на чужой текст и видеть в нём не ошибки перевода, а северное сияние.

Филин не стал лесным стражем. Гвидон не стал программистом. Они оба не оправдали надежд — и оба превзошли их. Потому что лес и код — это не противоположности. Это две формы порядка. Один — природный, другой — придуманный. Но в обоих есть ритм, рисунок, красота.

Сегодня они впервые увидели эту красоту в глазах друг друга.

Я думаю, это и есть мост.

— —

Котофей рекомендует:

Гвидон — классический отец. Он мыслит категориями «защита», «долг», «лес». Филин — классический сын. Он мыслит категориями «система», «код», «алгоритм». Двадцать лет они говорили в разные стороны и удивлялись, почему эхо не возвращается.

Секрет в том, что лес — это тоже система. Там есть свои протоколы передачи данных (птицы), свои базы данных (норы, тропы, гнёзда) и свои уязвимости (пожары, морозы, люди с топорами). Гвидон администрировал эту систему всю жизнь. Просто он называл это «быть царём», а не «управлять сетью».

Филин всю жизнь мечтал, чтобы отец увидел его работу. Гвидон всю жизнь мечтал, чтобы сын увидел его лес. Сегодня каждый увидел не то, что хотел. Гвидон увидел северное сияние в экране. Филин увидел алгоритм в лесу.

Это называется компромисс. Или, если хотите, любовь.

Кошки в таких случаях просто трутся о ноги. Потому что никакой код и никакой лес не заменят миску с едой и тёплые колени. Но люди, как всегда, всё усложняют.

Мяу.

— —

Через неделю Гвидон пришёл к Филу в комнату.

Не звал — просто вошёл, сел в кресло и стал смотреть. Фил работал, краем глаза видел отца, но не оборачивался. Через полчаса Гвидон спросил:

— А научишь?

— Чему?

— Смотреть, — сказал Гвидон. — Я не хочу программировать. Я хочу понимать, на что я смотрю. Когда ты говоришь «нейросеть», я представляю рыбацкую сеть, в которую вместо рыбы попали звёзды. Это красиво, но, наверное, неправильно.

Фил улыбнулся. Редко, одними уголками губ.

— Неправильно, — сказал он. — Но близко.

— Тогда объясни правильно. Медленно. Я старый, быстро не соображаю.

— Ты не старый, — сказал Фил. — Ты просто привык, что лес объясняется без слов.

— А код — со словами?

— Код — это и есть слова. Только на другом языке.

— Ну так переведи.

Фил развернул экран.

— Смотри, — сказал он. — Вот здесь — входные данные. Это как след на снегу. Ты смотришь на след и понимаешь: лось прошёл, тяжёлый, старый, левую заднюю подволакивает. Потому что ты видел тысячи следов. Твоя голова — нейросеть, только биологическая. Ты обучен распознавать лосей по отпечаткам копыт. Моя программа обучена распознавать эмоции по отпечаткам глаз. Принцип один.

Гвидон смотрел на экран. Потом перевёл взгляд на сына.

— И давно ты это придумал?

— Давно, — сказал Филин. — Ещё когда Злата была маленькая и не говорила. Я смотрел, как ты с ней сидишь рядом и просто ждёшь, когда она посмотрит на тебя. И думал: «Папа умеет читать по глазам. Я хочу научить этому машины». Чтобы никто больше не ждал годами, когда любимый человек посмотрит в ответ.

Гвидон молчал. Долго. Потом сказал:

— А она смотрит. Злата. Не всегда, но чаще, чем раньше. И не на меня — в лес. Но я знаю: она видит. Просто не умеет сказать.

— Я учу её, — сказал Фил. — Не словам — программам. Она хорошо понимает код. В нём не надо угадывать интонации.

— А я? — спросил Гвидон. — Я тоже хорошо понимаю код?

— Ты хорошо понимаешь лес, — сказал Фил. — Это важнее.

— Для леса — да. Для тебя?

Фил посмотрел на отца. Долго. Потом сказал:

— Для меня — тоже.

— —

Вечером Гвидон сидел на крыльце и смотрел на звёзды.

Агата вышла, села рядом.

— Ну что, — спросила она. — Освоил новый язык?

— Язык — нет, — сказал Гвидон. — Но, кажется, я перестал бояться, что не освою.

— Это уже много.

— Знаешь, я всё думал: почему он выбрал этот мир? Экран, код, алгоритмы. Там же нет живого. А сегодня смотрю на его программу и понимаю: там всё живое. Просто невидимое. Как лес ночью. Ты не видишь зверей, но знаешь, что они есть. Потому что слышишь дыхание.

— И чьё дыхание ты услышал?

— Его, — сказал Гвидон. — Фила. Он всё это время дышал в своём коде. А я стоял у дверей и не слышал, потому что ждал, что он заговорит голосом.

Агата взяла его руку.

— Ты хороший отец, — сказала она.

— Нет, — сказал Гвидон. — Я просто очень старался им быть. И только сейчас понял, что быть отцом — это не стараться. Это быть. Рядом. Даже если не понимаешь. Даже если не видишь в темноте.

— А теперь видишь?

— Теперь — да. Привык.

Он посмотрел на звёзды.

— Красиво, — сказал он. — Как северное сияние.

Агата улыбнулась.

— Ты повторяешься.

— Я старый, — сказал Гвидон. — Мне простительно.

— —

Клиентский кейс №4.

Тема: Отцы и дети, несовместимость мировоззрений, поиск общего языка.

Используемые метафоры: лес и код как две системы порядка; стены из кода; след на снегу и нейросеть; северное сияние в экране.

Ключевая сутра (скрытая): Авидья (неверное восприятие) и вивека (различение). Гвидон годами воспринимал увлечение Филина как уход, бегство, отчуждение. Филин воспринимал отцовское непонимание как отвержение. Правда открылась, когда оба перестали оценивать и начали различать: за кодом — ритм, за лесом — алгоритм.

Результат: Первый разговор не о делах, а о сути. Признание: «Я скучал». Готовность учить и учиться.

Работа Агаты с собой: Выступила переводчиком, но не навязывала свой перевод. Дождалась, пока муж и сын заговорят сами.

— —

Ночью Агате приснился сон.

Она стояла на опушке леса. Перед ней был Филин — маленький, лет семи, с огромными серьёзными глазами. Он держал в руках не компьютер, а бересту, и что-то чертил на ней углём.

— Что ты рисуешь? — спросила Агата.

— Карту, — сказал Фил. — Лесную карту. Чтобы папа не заблудился.

— Папа знает лес. Он не заблудится.

— Это карта не для леса, — сказал Филин. — Это карта для папы. Чтобы он знал, где я. Чтобы, когда он меня ищет, он не ходил по старым тропам, где я уже вырос.

Агата проснулась.

В избе было тихо. Гвидон спал рядом, дышал ровно. Где-то в комнате Фила горел экран — сын работал.

Она полежала, глядя в потолок.

— Котофей, — шепнула она.

— Мяу, — отозвался кот с печи.

— Ты спишь?

— Теперь нет.

— Филин сказал Гвидону: «Я скучал». Ты слышал?

— Я всё слышу.

— Это же хорошо, правда?

— Это очень хорошо, — сказал Котофей. — Это значит, что мост достроен. Можно пускать движение.

— В обе стороны?

— В обе.

Агата закрыла глаза.

За окном догорали звёзды. Лес готовился к рассвету.

В избе было тихо, тепло и почти спокойно.

Глава 5

Свекровь и чувства

Или о том, что тишина внутри — не всегда пустота

Она пришла без звонка.

Не потому, что не умела звонить — Марфа Петровна умела всё, что положено уметь культурному человеку. Просто звонок — это предупреждение. А она не хотела предупреждать. Боялась, что передумает.

Агата открыла дверь и замерла.

Свекровь стояла на пороге в своем лучшем пальто — сером, строгом, с меховым воротником, которое она надевала только на юбилеи и похороны. В руках — авоська с мандаринами. Лицо — каменное, как всегда. Только пальцы, сжимающие авоську, чуть дрожали.

— Марфа Петровна? — сказала Агата. — Что-то случилось?

— Случилось, — сказала свекровь. — Я пуста. Пуста уже семьдесят шесть лет, а только сейчас заметила. Ты можешь с этим что-то сделать?

Она вошла, не дожидаясь приглашения. Сняла пальто, повесила на крючок — аккуратно, плечико к плечику. Поставила авоську на лавку. Села за стол, сложила руки перед собой, как школьница на экзамене.

— Чай? — спросила Агата.

— Не хочу.

— Мятный. Вы любите мятный.

— Я не люблю мятный. Я пью мятный, потому что он полезен для пищеварения. Любовь тут ни при чем.

Агата поставила чайник.

Марфа Петровна молчала. Смотрела в стол, на свои руки, на въевшиеся в кожу следы реактивов, которые не отмывались годами. Руки старого лаборанта — сухие, жилистые, с припухшими суставами.

— Я никогда не говорила об этом, — сказала она. — Не считала нужным. Чувства — это не диагностическая категория. Их нельзя измерить, взвесить, зафиксировать в протоколе. Я тридцать лет заведовала лабораторией и ни разу не заполнила графу «эмоциональное состояние пациента». Потому что это не имеет отношения к лечению.

— Имеет, — тихо сказала Агата.

— Теперь знаю, — кивнула Марфа Петровна. — Теперь много чего знаю, поздно. Раньше я думала, что умение не чувствовать — это сила. Ты можешь работать, когда вокруг хаос. Можешь принимать решения, не оглядываясь на «нравится — не нравится». Можешь жить, не размениваясь на эти ваши… рефлексии.

Она поморщилась, будто слово «рефлексия» было кислым.

— А теперь я смотрю на Гвидона. На Фила. На Злату. Даже на тебя, Агата. У вас внутри всё кипит, бурлит, переливается через край. Вы ссоритесь, миритесь, плачете, смеётесь — и при этом продолжаете жить, работать, растить детей, спасать леса. А у меня внутри — тишина. Не та тишина, которую выбираешь. Та, в которой оказываешься, когда все звуки кончились, а новых не появилось.

Она замолчала. Чайник закипел, Агата заварила чай — мятный, для пищеварения. Поставила перед свекровью.

— Я думала, это норма, — сказала Марфа Петровна. — Я думала, все взрослые люди так живут: делают то, что надо, не обращая внимания на глупые порывы души. А потом пришла

к вам на обед, посмотрела, как Зоя спорит с Фидом о том, кто сегодня моет посуду, и поняла: они не играют. Они взаправду злятся, взаправду мирятся, взаправду любят друг друга. А я… я смотрела на них и не могла вспомнить, когда в последний раз злилась по-настоящему. Не раздражалась — злилась. Чтобы внутри горело, а в груди тесно. Чтобы хотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Да как ты смеешь!»

Она взяла чашку. Отпила. Поморщилась — то ли от горечи, то ли от воспоминаний.

— Я не помню, — сказала она. — Я вообще мало что помню из того, что касается чувств. Помню, как защищала диплом — волновалась, это было. Помню, как родился Гвидон — там была усталость, много усталости. Помню, как муж умер — там была пустота. Не горе, не боль, не отчаяние. Пустота. Я тогда подумала: «Надо организовать похороны». И организовала. Хорошо организовала, без нареканий. А потом вернулась домой, села на стул и просидела до утра. Не плакала, не думала, не вспоминала. Просто сидела. И в голове было: «Понедельник — в морг, вторник — ритуальные услуги, среда — поминки». Я всё спланировала. А чувствовать — не почувствовала ничего.

Агата молчала. Котофей, обычно встревавший в разговоры, сидел на печи неподвижно, только уши поворачивались, ловя каждое слово.

— Вы не сломаны, — сказала Агата. — Вы просто… выключили звук очень давно. Когда было слишком больно. И забыли, как включить обратно.

— Я не выключала, — сказала Марфа Петровна. — Я никогда не умела включать. С детства. Мама говорила: «Марфа, не реви, ты же девочка, а не корова». Папа говорил: «Марфа, не злись, ты же не базарная баба». В школе говорили: «Марфа, не высовывайся, ты же отличница, тебе нельзя ошибаться». В институте: «Марфа, не влюбляйся, ты же учёный, тебе нужна голова, а не сердце». Я слушалась. Я всегда слушалась. Я стала тем, кем меня хотели видеть. А кем я хотела быть — не знаю. Я никогда не спрашивала.

Она посмотрела на свои руки.

— И вот я здесь. Семьдесят шесть лет. Муж умер. Сын вырос и живёт своей жизнью. Внуки — взрослые люди, у каждого свои проблемы. Работа закончилась. Лабораторию закрыли, микроскоп стоит на шкафу, пылится. И я смотрю на этот микроскоп и думаю: «Зачем ты мне? Ты же не работаешь. Ты просто память». А память — это не чувство. Память — это архив. Я всю жизнь архивировала себя. А теперь открываю папки и вижу: там пусто. Даты, события, факты. А меня — нет.

Она замолчала. Долго. Агата не торопила.

— Зачем я тебе это рассказываю? — спросила Марфа Петровна. — Ты не психолог, ты даже не врач. Ты — Яга. Ты травами лечишь, картами гадаешь, с духами разговариваешь. Какое отношение это имеет к моей проблеме?

— А какое отношение ваша проблема имеет к диагнозу? — спросила Агата.

Марфа Петровна посмотрела на неё долгим, тяжёлым взглядом.

— Никакого, — сказала она. — Поэтому я и пришла. К врачу я бы не пошла. Врач сказал бы: «Депрессия, выпишите антидепрессанты». А я не хочу таблетки. Я хочу понять: я была такой всегда? Или я стала такой? И можно ли это исправить в моём возрасте, или уже поздно?

— Поздно только умирать, — сказала Агата. — А вы пока живая. Сидите тут, пьёте мятный чай, жалуетесь на отсутствие чувств. Живые жалуются. Мёртвые молчат.

Марфа Петровна хмыкнула. Не улыбнулась — хмыкнула, как старый профессор на удачную формулировку аспиранта.

— Логично, — сказала она. — Допустим, я живая. И что мне с этим делать?

— Для начала — перестать требовать от себя чувств.

— То есть?

— Вы хотите включить звук резко, на полную громкость. Как радио. А ваше радио семьдесят шесть лет молчало. Если вы сейчас рванёте ручку — динамики сгорят. Надо не включать,

а — ловить сигнал. Слабый, на грани шума. Иногда он пробивается, вы его слышите краем уха и сразу глушите, потому что привыкли, что чувства мешают работать.

— Когда? — спросила Марфа Петровна. — Когда я его глушу?

— Сейчас, — сказала Агата. — Вы сидите, смотрите на свои руки и думаете: «Они старые, некрасивые, в пигментных пятнах». А где-то на заднем плане есть другая мысль: «Эти руки спасали жизни. Ставили диагнозы, перебирали пробирки, вытирали слёзы медсестёр, когда умирали пациенты». Эта мысль — чувство. Гордость. Только вы её не замечаете, потому что привыкли считать гордость — грехом, а самооценку — нескромностью.

Марфа Петровна молчала. Смотрела на руки.

— Я не знаю, — сказала она. — Может быть. Я не умею это различать.

— Научитесь, — сказала Агата. — У вас вся жизнь впереди.

— Семьдесят шесть лет — это не «вся жизнь».

— Это столько, сколько есть. Другой не будет.

Марфа Петровна помолчала. Потом спросила:

— И как мне учиться?

Агата встала, подошла к полке, порылась в коробках со швейными принадлежностями. Достала вязальный крючок — старый, костяной, с выщербленной ручкой — и клубок серой шерсти.

— Вот, — сказала она. — Научитесь вязать.

— Я умею вязать, — сказала Марфа Петровна. — Носки, варежки, свитера. Я Гвидону в детстве всё сама вязала. Экономия.

— Вы вязали, чтобы экономить, — сказала Агата. — А теперь вяжите, чтобы чувствовать. Не носки — просто полотно. Считайте петли. Ошибайтесь. Распускайте. Злитесь, что нитки путаются. Радуйтесь, когда узор получается. Не выбрасывайте ошибки — рассматривайте их. Это и есть ваши чувства. В каждой петле.

Марфа Петровна взяла крючок. Покрутила в пальцах.

— Глупость какая, — сказала она. — Вязание — это механическая работа. Руки помнят, голова отдыхает. Никаких чувств.

— Вот и проверьте, — сказала Агата.

Через неделю Марфа Петровна вернулась.

С порога, не раздеваясь, выложила на стол кривой, узловатый, абсолютно нелепый шарф. Серый, в петлях разной величины, с дырой посередине и странным наростом на конце.

— Это ужасно, — сказала она. — Я никогда не вязала такой ерунды. Я три раза распускала и начинала заново. Всё равно криво. Смотреть противно.

— А чувствовать? — спросила Агата.

Марфа Петровна замолчала. Сняла пальто. Села. Долго смотрела на шарф.

— Я злилась, — сказала она. — Когда петли сбегали, я злилась. Раньше я просто переделывала. А тут — не могла. Руки тряслись, нитки путались, я сидела и шипела как старая кошка. Потом плюнула, связала эту дыру и решила: будь что будет. И когда закончила — заплакала.

Она подняла глаза. В них стояли слёзы — невыплаканные, непривычные, явно мешающие.

— Я не плакала пятьдесят лет, — сказала она. — Со школьного выпускного, кажется. Тогда мама сказала: «Не реви, ты же не корова». И я перестала. А тут сижу, смотрю на этот уродский шарф, и слёзы текут сами. Я даже не поняла сразу, что это — слёзы. Думала, в глазах песок.

— Это не песок, — сказала Агата. — Это вы.

Марфа Петровна кивнула. Осторожно, будто боялась расплескать.

— Я испугалась, — сказала она. — В первый момент. Думала: «Сейчас разревусь и не остановлюсь». А потом поняла: останавливаться и не надо. Просто плакать. Хотя бы пять минут. Хотя бы над шарфом.

Она помолчала.

— Знаешь, Агата, я ведь всю жизнь думала, что сила — в контроле. Держать себя в руках, не расслабляться, не позволять чувствам управлять поступками. А сейчас думаю: может быть, сила — в том, чтобы иногда отпускать контроль? Чтобы потом снова брать, но уже другими руками?

— Может быть, — сказала Агата. — Я только в пятьдесят два это поняла. Вы — в семьдесят шесть. Мы обе не торопимся.

Марфа Петровна усмехнулась. Уголками губ, но усмехнулась.

— Значит, у меня ещё есть время?

— Есть.

— На что?

— На всё, что захотите.

Марфа Петровна посмотрела на шарф. Потом на свои руки. Потом — в окно, где падал первый, ещё робкий снег.

— Я хочу довязать, — сказала она. — Не этот — я его, пожалуй, Зое отдам, она молодёжь, им всё равно, что носить. А другой. Из синей шерсти. Гвидону. У него старая шапка прохудилась, а он всё ходит, не меняет.

— Довяжете, — сказала Агата.

— Я не умею по схемам. Я всегда на глаз вязала, по памяти.

— По памяти — даже лучше. Схемы чужие. Память — своя.

Марфа Петровна кивнула. Спрятала шарф в авоську, рядом с мандаринами. Встала.

— Я пойду, — сказала она. — Нитки надо купить. Синие. И крючок потолще — этот костяной, он старый, петли царапает.

— Купите, — сказала Агата.

— Спасибо, — сказала Марфа Петровна.

— За что?

— За то, что не сказала: «Вам, Марфа Петровна, к психотерапевту надо». Все говорят, ты — первая, кто сказал: «Вам, Марфа Петровна, крючок нужен. И шерсть».

Агата кивнула.

Марфа Петровна надела пальто. Застегнула пуговицы — снизу вверх, аккуратно, как учили в детстве. У порога обернулась.

— Агата.

— Да?

— Ты говорила про микроскоп. Что я держу его на шкафу, потому что помню, кто я есть. Та, кто умеет смотреть.

— Говорила.

— Я думала об этом. И поняла: микроскоп — это не про зрение. Это про то, что я всю жизнь искала порядок в хаосе. А вязание — это создавать порядок из хаоса. Почти то же самое, только руками. И если я могу создавать порядок — значит, я не сломана. Я просто переквалифицировалась.

Она сказала это и вышла, не дожидаясь ответа.

Агата смотрела в окно, как свекровь идёт по тропинке — прямая, сухая, с авоськой в руке. Только шаг стал чуть мягче. Или показалось.

— Знаешь, — сказал Котофей с печи, — а она мне всегда нравилась.

— Ты её боялся, — сказала Агата. — При ней даже мышей не ловил.

— Бояться и нравиться — не исключающие категории. Она — сильная. Не как вы, лесные, — криком и магией. Она — тихая сила, как сталь. Долго гнётся, потом раз — и не сломать.

— И что с этой силой делать?

— Уже делает. Вяжет. Плачет. Покупает синюю шерсть. Этого достаточно для первого раза.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №848.

Марфа Петровна сегодня назвала себя «пустой».

Я думала об этом весь вечер. Она не симулирует. Она действительно не чувствует того, что чувствуют другие — или думает, что не чувствует. Семьдесят шесть лет она подавляла эмоции так старательно, что они перестали пробиваться наружу. Не исчезли — ушли в подполье, в тело, в болезни, в эту её вечную «пищеварительную систему».

Алекситимия — так это называют психологи. Неумение распознавать собственные чувства и выражать их словами. Марфе Петровне не нужен был этот диагноз. Ей нужен был крючок.

Потому что чувства не всегда приходят через слова. Иногда они приходят через руки. Через петли, которые сбегают, и узоры, которые не получаются. Через злость на непослушные нитки. Через слёзы над кривым шарфом.

Йога называет это абхьяса — практика. Не размышления о чувствах, а действие, в котором чувства проявляются сами. Марфа Петровна не училась чувствовать. Она училась вязать. А чувства пришли следом, как нитка за крючком.

Я думаю, это и есть исцеление. Не когда ты начинаешь чувствовать правильно. А когда ты перестаёшь бояться того, что чувствуешь.

Даже если это просто злость на кривую петлю.

Даже если это слёзы над шарфом, который никто не будет носить.

Котофей рекомендует:

Люди думают, что кошки не чувствуют. Это миф. Кошки чувствуют всё. Просто мы не считаем нужным это демонстрировать. Марфа Петровна — кошачий человек в человеческом теле. Она всю жизнь копировала кошачью стратегию: не показывай слабость, не проси помощи, сохраняй достоинство.

Но кошки, в отличие от людей, умеют отдыхать от достоинства. Валяться на солнце, глупо дрыгать лапами во сне, мурлыкать без причины. Марфа Петровна этого не умела. Она даже спала, наверное, с прямой спиной.

Сегодня она впервые позволила себе связать кривой шарф и не переделать его. Это больше, чем просто «разрешить себе ошибаться». Это — разрешить себе быть несовершенной. Живой. Человеческой.

Кошки одобряют. Хотя этот шарф действительно ужасен.

Мяу.

Через три дня Марфа Петровна прислала сообщение.

Не голосовое — текстовое, короткое, без знаков препинания.

«Гвидон шапку надел сказал тёплая спасибо я сказала это Фил вяжет он не поверил сказал Фил не умеет я сказала научился он улыбнулся и ушёл в лес а я сидела на кухне и улыбалась тоже кажется это называется гордость»

Агата перечитала три раза. Потом набрала ответ:

«Это называется гордость. Вы имеете на неё право».

Через минуту пришло:

«Знаю теперь»

И ещё через минуту:

«Нитки синие купила. Шарф будет к субботе. Петли ровнее. Обещаю»

Агата улыбнулась и убрала телефон.

— Котофей, — сказала она.

— Мяу.

— Кажется, у нас в лесу завелась новая Яга.

— Старая, — поправил кот. — Просто переквалифицировалась. Из завлабов в вязальщицы. С правом на кривые петли и внезапные слёзы.

— Это хорошо?

— Это лучше, чем быть правой всю жизнь, — сказал Котофей. — Гораздо лучше.

Клиентский кейс №5. Тема: Алекситимия, запрет на эмоции, поздняя сепарация от родительских установок. Используемые метафоры: пустота внутри; микроскоп на шкафу; вязание как телесная практика чувствования; кривой шарф как легитимизация несовершенства. **Ключевая сутра (скрытая):** *Абхьяса* и *вайрагья* — практика и непривязанность. Марфа Петровна всю жизнь практиковала контроль. Теперь она практикует **отпускание**. Непривязанность к идеальному результату (кривой шарф) открывает доступ к процессу (чувствование через действие). **Результат:** Первый опыт распознавания и выражения эмоций. Легитимизация права на несовершенство. Начало диалога с сыном через материальный объект (шапка). **Работа Агаты с собой:** Увидела в Марфе Петровне своё отражение — обе долго подавляли чувства, обе нашли выход через руки (Агата — сад, травы, расклады; Марфа Петровна — вязание). Поняла, что исцеление не имеет возрастных границ.

Вечером Агата сидела на крыльце и смотрела, как снег укрывает сад.

Рябина стояла голая, без листьев, но ягоды на ней держались — красные, яркие, как капли крови на белом. Клевал ли кто их — она не видела, но надеялась, что клевал. Не зря же сажала.

Гвидон вышел, сел рядом. Молча.

— Марфа Петровна шарф тебе вяжет, — сказала Агата. — Синий.

— Знаю, — сказал Гвидон. — Она звонила, спрашивала, какой длины предпочитаю.

— А ты какой предпочитаешь?

— Не знаю. Сказал: «Стандартный». Она сказала: «Стандарта не существует, параметры уточни». Я сказал: «Чтоб уши закрывал». Она сказала: «Принято». И повесила трубку.

Агата улыбнулась.

— Она волнуется, — сказал Гвидон. — Голос был другой. Не начальственный — неуверенный. Я даже испугался сначала. Думал, заболела.

— Не заболела, — сказала Агата. — Выздоравливает.

Гвидон посмотрел на неё. Потом в лес. Потом снова на неё.

— Ты про то, что она чувствовать учится? Фил рассказал.

— Да.

— И как, получается?

— Получается. Медленно, с ошибками, петли путает. Но получается.

Гвидон помолчал.

— Я всю жизнь думал, что она железная, — сказал он. — Не потому, что она так себя вела. Потому что я боялся увидеть в ней что-то другое. Если она железная — значит, я могу на неё опереться. Если она живая, с чувствами, со слабостями — значит, и мне можно? Значит, и я имею право не быть скалой?

— Имеешь, — сказала Агата. — Всегда имел.

— А почему я этого не знал?

— Потому что не спрашивал. Ни у неё, ни у себя.

Гвидон кивнул. Посмотрел на свои руки — большие, грубые, в шрамах от топора и веток.

— Я тоже свяжу что-нибудь, — сказал он. — Не шарф — лыжи. Филу. Он говорил, хочет научиться в лес ходить. Я его научу.

— Научи.

— А ты?

— А я буду смотреть, — сказала Агата. — И чай греть.

Они сидели на крыльце, смотрели на снег. В избе горел свет. Котофей дрых на печи. Григорий ворчал, перебирая веники.

Где-то в комнате Фила тихо гудел компьютер.

Где-то в городе Зоя закрывала ноутбук и смотрела в окно.

Где-то Марфа Петровна, надев очки, считала петли на синем шарфе, шевелила губами и время от времени смахивала что-то с ресницы — то ли ворсинку, то ли слезу.

Лес за окном дышал ровно, глубоко, спокойно.

Принимал всех.

Такими, какие есть.

Глава 6

Девочка, которая не выросла
Или о том, что отпускать труднее, чем держать

Она вошла бесшумно.

Это умение — появляться без звука, растворять шаги в половицах, делаться почти невидимой — Злата не утратила с годами. Просто раньше это была защита. Способ спрятаться от мира, слишком громкого, слишком яркого, слишком требовательного.

Теперь это была просто привычка.

— Мам, — сказала она. — Мне нужно поговорить.

Агата оторвалась от расклада. Карты лежали на столе причудливым узором — клиентка отменила встречу в последний момент, и она гадала просто так, для себя. Вопрос был: «Чего я боюсь?». Карты ответили: «Потери».

Она подняла голову.

Злата стояла в дверях. Пятнадцать лет, длинные волосы, собранные в небрежный пучок, огромный Гвидонов свитер, из рукавов которого едва виднелись кончики пальцев. Лицо — спокойное, даже отстранённое. Только пальцы теребили край свитера — нервно, мелко, как в детстве, когда она перегружалась и не могла объяснить, что с ней.

— Садись, — сказала Агата.

Злата села. Не на лавку — на пол, у печи, привалившись спиной к тёплой глине. Котофей, дремавший у огня, приоткрыл глаз, оценил ситуацию и не стал менять позу — только хвост легонько стукнул по половице: «я здесь, если что».

— Я не знаю, как начать, — сказала Злата. — Потому что это звучит как… предательство. Но я не хочу тебя предавать. Я просто… выросла. Кажется.

Агата молчала.

— Ты всю жизнь меня защищала, — сказала Злата. — От шума, от боли, от непонимания. Ты научилась читать мой язык — взгляды, молчание, сжатые кулаки. Ты строила для меня безопасный лес, договаривалась с учителями, терпела мои срывы и не сдавалась, даже когда я тебя ненавидела. Я помню. Я всё помню.

Она замолчала. Подтянула колени к груди, обхватила руками, стала совсем маленькой — почти той девочкой, которая не говорила до пяти лет, а только смотрела своими огромными, бездонными глазами.

— А теперь я хочу… не защиты. Я хочу своей жизни. Не особенной — обычной. Чтобы я сама решала, громко мне или тихо, удобно или неудобно, правильно или неправильно. Чтобы ты не стояла за моей спиной с подушкой — вдруг я упаду. Я буду падать. Я уже падала. И вставала. Без подушки.

Агата смотрела на дочь. На её пальцы, переставшие теребить свитер. На прямую спину — она уже не приваливалась к печи, сидела сама, без опоры.

— Ты думаешь, я держу тебя, — сказала Агата. — А я думала, что просто… рядом.

— Рядом — это хорошо, — сказала Злата. — Рядом — это можно дышать. А ты не рядом. Ты надо мной. Как дерево. Тень большая, ветки закрывают солнце. Я выросла в твоей тени и думала, что это и есть свет. А потом выглянула за опушку и увидела: солнце другое. Не твоё. И мне захотелось к нему.

Она говорила спокойно, без надрыва. Без той ярости, что кипела в ней в двенадцать, когда она кричала: «Ты не можешь сделать меня нормальной!». Без той ледяной отстранённости, что замораживала всё вокруг в тринадцать.

Это был просто разговор. Взрослой девочки с взрослой мамой.

— Я не хочу быть твоим смыслом, — сказала Злата. — Это слишком тяжёло. Я не хочу оправдывать твои жертвы, твои бессонные ночи, твою Ягу, которую ты из себя вылепила ради меня. Я не просила тебя становиться Ягой. Я просила только… быть.

Агата молчала долго. Так долго, что Котофей открыл оба глаза и перестал притворяться спящим. Так долго, что Григорий затих за печкой, забыв про веники.

— Ты права, — сказала она наконец. — Ты не просила.

Голос у неё был чужой — сухой, сдавленный, будто она собирала его по кусочкам.

— Я сама выбрала. Сама решила, что моя миссия — спасти тебя от мира. Сама придумала, что без меня ты не справишься. Я так хотела быть нужной, так боялась оказаться лишней, что сделала тебя центром своей вселенной. А вселенная — это очень тяжёлая работа. Особенно если ты в ней одна.

Злата молчала. Смотрела на мать — не отстранённо, внимательно, как смотрят на сложную, красивую карту.

— Я не жалею, — сказала Агата. — Ни об одной ночи, ни об одном разговоре с учителями, ни об одном зелье, которое я варила, чтобы у тебя перестал болеть живот перед контрольной. Я не жалею, что стала Ягой. Без этого я бы не выжила. Мы бы не выжили. Но сейчас…

Она замолчала. Подбирала слова.

— Сейчас я похожа на садовника, который поливает дерево каждый день, хотя дождь идёт уже месяц. Дерево выросло. Корни ушли глубоко. Ему не нужна моя лейка. Но я всё стою с лейкой, потому что не знаю, что делать с руками без неё.

Злата встала. Подошла к матери, села рядом на лавку — не на пол, не у печи, а рядом, плечом к плечу.

— Ты можешь просто сидеть, — сказала она. — Руки можно положить на колени. Или вязать, как бабушка. Или чай пить. Лейку — отставить.

— А если засуха? — спросила Агата. — Если ты упадёшь, а я без лейки?

— Я буду падать. Это нормально. Люди падают. И встают. Без лейки.

— А если не встанешь?

— Встану, — сказала Злата. — Я твоя дочь. У меня корни глубже, чем ты думаешь.

— —

Они сидели рядом долго. Смотрели в огонь. Котофей, убедившись, что катастрофа отменяется, снова закрыл глаза и замурлыкал.

— Можно я тебя спрошу? — сказала Злата.

— Спрашивай.

— Ты боишься, что без меня станешь… никем?

Агата вздрогнула.

— Откуда ты…

— Я вижу, — сказала Злата. — Ты не умеешь быть без задачи. Сначала я была задачей. Потом клиенты, лес, сад. Ты всегда кому-то нужна. Если тебя перестанут звать, спрашивать, ждать — ты не знаешь, куда себя деть. Ты боишься не меня потерять. Ты боишься потерять свою нужность.

Агата молчала.

— Это не предательство, — сказала Злата. — Это просто правда. Я не хочу быть твоей работой. Я хочу быть твоей дочерью. Работа — она про навыки, про результат, про план. А дочь — просто есть. Даже если ничего не делает. Даже если далеко. Даже если не звонит неделю.

— Ты будешь звонить? — спросила Агата.

Голос у неё был тихий, почти детский.

— Буду, — сказала Злата. — Не каждую неделю, наверное. Но буду. И приезжать буду. И чай пить. И молчать вместе. Всё, кроме одного.

— Кроме чего?

— Кроме «мам, спаси меня». Это я уже умею сама.

Агата кивнула.

В печи трещали дрова. За окном смеркалось.

— Знаешь, — сказала Агата, — я всю жизнь думала, что хорошая мать — это та, которая нужна. К которой бегут за советом, за утешением, за волшебным пенделем. А сейчас сижу и понимаю: хорошая мать — это та, от которой не бегут. Которая не пугает своей любовью. Которая может просто сидеть на крыльце и не спрашивать, когда ты вернёшься.

— Сидеть на крыльце — это ты умеешь? — спросила Злата.

— Не очень. Всё время кажется, что надо встать и что-то сделать.

— Потренируйся, — сказала Злата. — У тебя теперь есть время. Я подрабатывать буду, в кофейне. У них там wi-fi хороший, Фил проверял. Вечером буду приходить, чай пить. Ты к этому времени уже научишься сидеть?

— Научусь, — сказала Агата. — Куда я денусь.

— —

Злата ушла к себе.

Агата сидела у печи, смотрела на огонь, и внутри у неё что-то медленно, с хрустом, оттаивало. Не боль — ледник. Который она носила в груди пятнадцать лет, с тех пор как впервые взяла на руки это крошечное, напряжённое тельце и поклялась, что не даст миру его сломать.

Она не дала. Мир не сломал.

А теперь выяснилось, что ломать было нечего. Злата не была хрупкой. Злата была — прочной. Другой прочностью, не той, что у Гвидона или Фила, — не дубовой, не стальной. Она была как бамбук: гнулась до земли, но не ломалась. Просто потому, что умела гнуться.

— Ты плачешь, — сказал Котофей, не открывая глаз.

— Нет, — сказала Агата.

— Плачешь. Сопли по щекам размазываешь.

Агата провела рукой по лицу. Мокро.

— Это не от горя, — сказала она. — Это от… не знаю. От гордости, наверное.

— Гордость — это хорошо, — сказал Котофей. — Гордость — это когда твой птенец вылетел из гнезда и не разбился.

— А если разобьётся?

— Разобьётся — подлечишь. Но лечить будешь уже взрослую птицу, а не птенца. Разница есть.

Агата кивнула.

— Ты прав, — сказала она. — Чёртов кот.

— Чёртова Яга, — отозвался Котофей. — Иди спать. Завтра у тебя клиентка с утра.

— Какая?

— Не помню. Григорий записывал.

Из-за печи высунулся Григорий с блокнотом:

— Елена. Которая с колыбелью. Опять. Сказала, муж с ней идёт. И ещё какой-то свёрток несёт, не колыбель — поменьше.

— Икону? — спросила Агата.

— Не похоже. Тряпочкой замотано, он её к груди прижимает.

Агата подумала.

— Ладно, — сказала она. — Завтра разберёмся.

Она встала, погладила Котофея, кивнула Григорию и пошла в спальню.

Гвидон уже спал — дышал ровно, уткнувшись носом в подушку. Она легла рядом, прижалась к его широкой, тёплой спине.

— Агата? — сонно пробормотал он.

— Я.

— Всё хорошо?

— Всё хорошо, — сказала она. — Спи.

Он вздохнул и снова провалился в сон.

Агата лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок и думала о том, что завтра у неё нет планов. Совсем. Клиенты, да, но клиенты — это не план, это отклик. А плана нет. Ни посадить, ни вылечить, ни спасти.

Только сидеть на крыльце и ждать, когда дочь вернётся из своей кофейни.

Она закрыла глаза.

В груди, там, где пятнадцать лет лежал ледник, теперь плескалось что-то тёплое, солоноватое, похожее на утреннее море.

Не счастье. Не облегчение.

Просто — оттепель.

— —

Методическая врезка.

Дневник Яги. Запись №849.

Сегодня Злата сказала: «Я не хочу быть твоим смыслом».

Я думала, это ударит. Разорвёт, расколет, оставит зияющую дыру. А вместо дыры — тишина. И в этой тишине — странное, непривычное облегчение.

Пятнадцать лет я несла её как ношу. Драгоценную, любимую, выстраданную — но ношу. Я думала: «Я — мать, я должна». Должна защитить, должна предвидеть, должна удержать. Долг стал моей кожей. Я перестала чувствовать, где кончаюсь я и начинается она.

А она всё это время была не мной. Отдельной. Со своим ритмом, своим языком, своей тропой в лесу.

Сепарация — это не когда ребёнок уходит. Это когда мать перестаёт считать уход предательством.

Я пока не умею совсем не считать. Но сегодня, кажется, перестала бояться.

В йога-сутрах есть понятие апариграха — неудерживание, неприсвоение. Я думала, это про вещи, про жадность. А это — про детей. Про любовь, которая не душит. Про руки, которые умеют разжиматься.

Злата уходит не от меня. Она уходит к себе.

Моя задача — не бежать следом. И не звать обратно.

Моя задача — сидеть на крыльце и ждать, когда она вернётся просто в гости.

Я попробую.

— —

Котофей рекомендует:

Кошки знают о сепарации всё. Кошка-мать вылизывает котят, кормит, защищает, учит охотиться. А потом — перестаёт. Не потому, что разлюбила. Потому что котята выросли. Если мать будет кормить их до старости, они так и не научатся ловить мышей.

Люди почему-то думают, что материнство — это пожизненный контракт. А это — сезонная работа. Весна — родить, лето — вырастить, осень — отпустить. Зимой мать отдыхает и греет старые кости у печи.

Агата всю жизнь работала без отпусков. Пятнадцать лет подряд — весна, лето, осень, и снова весна. Она забыла, что у зимы тоже есть смысл.

Злата сегодня дала ей этот смысл. Не «будь мне матерью» — «будь собой».

Теперь дело за Агатой.

Мяу.

— —

Злата устроилась в кофейню через две недели.

Не в лесную — в городскую, на окраине, где пахнет зёрнами и корицей, а посетители не смотрят на тебя с подозрением, если ты долго выбираешь пирожное. Хозяин, пожилой армянин по имени Рубен, посмотрел на её огромные глаза, трясущиеся пальцы и сказал: «Будешь зал протирать. Клиентов видеть не обязательно, они тебя — тоже, стойки высокие, ты маленькая, никто не заметит».

Злата кивнула. Осталась.

Первые дни она приходила домой выжатая, молчаливая, пахнущая кофейной пылью. Падала на кровать и засыпала — без планшета, без музыки, без привычного ухода в параллельные миры. Просто спала.

Агата смотрела на неё и молчала. Не спрашивала: «Как прошло?», «Не устала?», «Может, не надо?».

Просто ставила на тумбочку кружку с ромашкой и уходила.

На девятый день Злата сказала за ужином:

— Сегодня я сама обслужила клиента. Рубен ушёл в подсобку, а тут женщина пришла, очень торопилась, просила просто американо с собой. Я налила. Не пролила.

— Молодец, — сказала Агата.

— Руки тряслись. Но я налила. Она сказала «спасибо» и убежала.

— Ты ей ответила?

— Кивнула. Слова не вышли. Но она уже не смотрела.

— Кивнуть — тоже ответ, — сказал Фил, не отрываясь от ноутбука. — Коммуникация бывает разной. Главное — сообщение доставлено.

Злата посмотрела на брата. Потом на мать.

— Я, кажется, начинаю разговаривать с миром, — сказала она. — Не словами — действиями. Кофе налить, стол протереть, чашку помыть. Это ведь тоже язык?

— Язык, — сказала Агата. — Очень понятный. Мир любит, когда его кормят и моют за ним посуду.

Злата улыбнулась. Редко, одними уголками губ.

— Тогда я, наверное, останусь там, — сказала она. — Пока не надоест. Или пока не научусь говорить «здравствуйте» вслух.

— Оставайся, — сказала Агата. — Кофе будешь домой приносить?

— Буду. Рубен разрешает брать остатки. У них там капучинатор волшебный, такая пена получается — как облако.

— Жду, — сказала Агата.

— —

В субботу Злата не пошла в кофейню — выходной.

Она сидела на крыльце, закутавшись в тот самый кривой бабушкин шарф (Марфа Петровна вручила его со словами: «Это пробный, второй будет лучше, а этот носи пока, не стыдно, он тёплый»), и смотрела на снег.

Агата вышла, села рядом.

— Не замёрзнешь?

— У меня шарф, — сказала Злата. — Бабушкин. Он с дырой, но тёплый.

— Дыру зашить надо.

— Не надо. Она красивая. Я в неё палец просовываю и чувствую, что дышать можно.

Агата посмотрела на дыру. Края обтрепались, нитки торчали во все стороны. Палец Златы торчал из шарфа, как маленький белый флаг.

— Я тоже хочу такой шарф, — сказала Агата.

— Попроси у бабушки. Она сейчас вяжет без остановки. Говорит, что навёрстывает пятьдесят лет вязального молчания.

— Попрошу.

Они сидели молча. Снег падал крупными, ленивыми хлопьями. Котофей, высунув нос из избы, оценил погоду и решил остаться внутри.

— Мам, — сказала Злата.

— М?

— А ты кем будешь, когда я совсем уйду?

Агата долго молчала. Смотрела, как снег укрывает рябину, как красные ягоды проглядывают сквозь белое, как синица сердито отряхивает ветку.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Я думала, что этот вопрос меня разрушит. А сейчас сижу и понимаю: не разрушает. Просто — вопрос. Без ответа.

— И что ты будешь делать?

— Жить, наверное. Сад сажать. Клиентов принимать. Кота кормить. Чай пить. Внуков ждать, если ты решишься.

— Я не скоро, — сказала Злата. — Я сначала в кофейне научусь «здравствуйте» говорить.

— Я подожду, — сказала Агата.

— —

Клиентский кейс №6.

Тема: Сепарация подростка с РАС-чертами, материнский кризис идентичности, отпускание контроля.

Используемые метафоры: дерево и садовник с лейкой; тень, закрывающая солнце; бамбук, который гнётся, но не ломается; шарф с дырой как право на несовершенство.

Ключевая сутра (скрытая): Апариграха — неудерживание, неприсвоение. Агата пятнадцать лет «удерживала» Злату — не физически, энергетически. Она считала дочь своей миссией, своей работой, своим смыслом. Отпустить — значило остаться без смысла. Но оказалось, что смысл не в удержании, а в присутствии.

Результат: Злата начала социальную адаптацию через доступную ей деятельность (кофейня, действия вместо слов). Агата начала практику «сидения на крыльце» — первый опыт бытия без задачи.

Работа Агаты с собой: Признала, что «быть нужной» и «быть матерью» — не синонимы. Разрешила дочери отделиться без чувства предательства. Обнаружила, что после ухода ребёнка жизнь не заканчивается — она просто меняет формат.

— —

Ночью Агате приснилась та самая рябина.

Только теперь она была не тонким саженцем — большим, разлапистым деревом с мощным стволом и ветвями, уходящими высоко в небо. Ягоды на ней горели красным, и каждая была как маленький фонарик.

Под рябиной стояла девочка. Не Злата — другая, поменьше, с глазами цвета грозового неба.

— Ты кто? — спросила Агата.

— Я — та, которая не родилась, — сказала девочка. — Ты посадила рябину, и я теперь здесь. В корнях.

— Тебе там не холодно?

— Нет. Земля тёплая. И птицы поют. И ягоды вкусные, хотя горькие.

Агата хотела спросить ещё о чём-то, но девочка уже уходила — вглубь леса, туда, где деревья стояли плотной стеной, а снег ещё не выпал.

— Подожди, — крикнула Агата. — Как тебя зовут?

— Ты сама назвала, — сказала девочка, не оборачиваясь. — Рябина. Я — Рябина.

И исчезла.

Агата проснулась.

За окном всё так же падал снег. В избе было тепло. Где-то в комнате Златы горел ночник — она всё ещё не могла спать в полной темноте.

— Котофей, — позвала Агата.

— Мяу.

— Мне приснилась Рябина.

— Красивая?

— Маленькая. С глазами как у меня в детстве.

— Значит, жива, — сказал Котофей. — Твоя девочка. Прижилась.

Агата кивнула.

Она полежала ещё немного, глядя в потолок. Потом встала, накинула халат и вышла на крыльцо.

Снег падал бесшумно, густо, укрывая сад пушистым одеялом. Рябина стояла тёмная, мокрая, но ягоды на ней горели — даже в темноте, даже сквозь снег.

— Здравствуй, — сказала Агата тихо. — Я скоро приду. Не сейчас.

Дерево молчало. Но Агате показалось, что ветви чуть наклонились — будто кивнули.

Она постояла ещё минуту и вернулась в избу.

Завтра будет новый день. Придут клиенты. Злата уйдёт в свою кофейню. Гвидон уедет в лес по делам. Фил будет сидеть в своей комнате и писать код, изредка выходя на кухню за чаем.

А она будет сидеть на крыльце.

Учиться ждать.

Учиться быть.

Учиться не держать.

Глава 7

Зоя и пустота между струнами
Или о том, что бег — не всегда движение

Она приехала в воскресенье.

Не позвонила, не предупредила — просто въехала во двор на своей старой «копейке», которая тарахтела так, что Григорий за печкой перекрестился. Хлопнула дверцей, достала с пассажирского сиденья огромный рюкзак, с ноги захлопнула багажник.

Агата вышла на крыльцо.

Зоя стояла посреди двора, озиралась, будто впервые здесь была. Рюкзак сползал с плеча, волосы выбились из вечно растрёпанного пучка, под глазами — синева.

— Мам, — сказала она. — Я, кажется, сломалась.

И замолчала.

Не заплакала, не бросилась в объятия — просто стояла и смотрела на мать так, как смотрела в детстве, когда разбивала коленку и ждала, что её пожалеют, но не знала, как попросить.

— Проходи, — сказала Агата.

Зоя сидела за столом, обхватив кружку обеими руками, и молчала.

Котофей, почуяв неладное, спрыгнул с печи и улёгся у неё на коленях. Она машинально запустила пальцы в шерсть — гладила, перебирала, теребила.

— Я не знаю, с чего начать, — сказала она. — Потому что всё вроде хорошо. Работа — супер. Проект сдали раньше срока, премия, повышение. Друзья есть, планы на отпуск, даже фитнес три раза в неделю. Всё по списку. Я всё делаю правильно. А внутри…

Она замолчала. Пальцы замерли в кошачьей шерсти.

— Внутри — как будто я играю на скрипке, а струны ослабли. Звук есть, а музыки нет. Я вожу смычком, слушатели аплодируют, а я сама не слышу мелодии. Только пустоту между нотами.

Агата молчала. Ждала.

— В прошлый вторник я закрыла очередной отчёт, выключила компьютер и поняла, что не помню, что делала вчера. Вообще. Провал. Как будто кто-то вырезал кусок плёнки. Я открыла календарь — там встречи, задачи, созвоны. Я была на них. Я что-то говорила, что-то решала, куда-то бежала. А в голове — пусто. Ни одной эмоции. Ни усталости, ни радости, ни раздражения. Просто — белый лист.

— Выгорание, — сказала Агата.

— Знаю, — сказала Зоя. — Я и без тебя диагноз поставила. Отпуск взяла, две недели, лежу на диване, сериалы смотрю. Думала, отдохну — отпустит. А не отпускает. Потому что проблема не в том, что я устала. Проблема в том, что я не знаю, зачем я всё это делаю.

Она посмотрела на мать. В глазах — не отчаяние, нет. Растерянность. Как у человека, который шёл по карте и вдруг обнаружил, что карта — старая, а местность изменилась.

— Помнишь, ты рассказывала про сверчков? — спросила Зоя. — Про то, как один сверчок стрекочет — это просто звук, а двое создают пространство «между»?

— Помню.

— Я думала, ты про любовь. А теперь думаю: это про всё. Про жизнь. Я стрекочу одна уже двадцать восемь лет. Громко, уверенно, профессионально. А пространство «между» — не возникает. Потому что нужен второй. Не мужчина — смысл. Ответ. Кто-то, кто отзовётся на мою частоту.

Она отставила кружку. Чай остыл, она так и не отпила.

— Я не знаю, на какой частоте я работаю, — сказала она. — Я умею делать дела. Быстро, качественно, с гарантией. Я лучшая в своём отделе. Меня ценят, повышают, ставят в пример. А я смотрю на свою карьеру и думаю: «Это вообще я? Или я просто очень хорошо научилась делать то, что от меня ждут?»

— А что ты хочешь? — спросила Агата.

Зоя замерла.

— Страшный вопрос, — сказала она. — Я его себе пять лет не задавала. Потому что не знаю ответа. И боюсь, что его нет.

— Есть, — сказала Агата. — Просто он не в голове. В другом месте.

— Где?

— В теле. В руках. В том, от чего у тебя останавливается дыхание и ты забываешь, что надо дышать дальше.

Зоя молчала. Смотрела на свои руки. Красивые, ухоженные, с идеальным маникюром. Руки, которые умели всё: печатать сто слов в минуту, подписывать договоры, жестикулировать на совещаниях.

— Я не помню, когда у меня в последний раз останавливалось дыхание, — сказала она.

— Значит, будешь вспоминать, — сказала Агата. — Это и есть твоя работа сейчас. Не отчёты, не проекты, не карьера. Вспомнить, от чего ты живая.

Она просидела в избе три дня.

Не выходила, не звонила, отвечала односложно. Спала на лежанке, укрывшись тем самым кривым бабушкиным шарфом, который Марфа Петровна сунула ей при первой встрече («Зоя, ты вечно мёрзнешь, вот, носи, он тёплый, а что дыра — так ты молодёжь, вам сейчас мода на рваное»).

Агата не лезла. Варила суп, ставила на стол, уходила в сад. Котофей не отходил от Зои — лежал на коленях, мурлыкал, изредка тыкался носом в ладонь.

На третий день Зоя вышла на крыльцо.

— Я вспомнила, — сказала она. — Мне было семь. Мы с Филом строили шалаш в лесу. У нас ничего не получалось — ветки ломались, палки падали, крыша протекала. Мы злились, ругались, чуть не подрались. А потом вдруг раз — и шалаш получился. Кривой, косой, в дырах. Мы залезли внутрь, сидели там и молчали. И мне было так… спокойно. Как будто мир кончился за стенкой из веток, и остались только мы, запах мха и тишина.

Она помолчала.

— Я столько лет не вспоминала этот шалаш. А сегодня вдруг — лицо Фила, его сердитые глаза, грязные руки, и как мы дышим в унисон. Это было счастье. Не яркое, не громкое — тихое, как утренний туман. Я хочу снова так. Не строить карьеру, не бежать, не доказывать. Просто сидеть в кривом шалаше и дышать в унисон с кем-то.

— С кем? — спросила Агата.

— Не знаю, — сказала Зоя. — Может, с тобой. Может, с Филом. Может, с человеком, которого ещё не встретила. Может, просто с лесом. Это не важно. Важно — дышать.

Агата кивнула.

— Ты помнишь, как строить шалаши? — спросила она.

— Нет. Я забыла.

— Ничего, — сказала Агата. — Лес помнит. Лес научит.

Они пошли в лес на четвёртый день.

Зоя — в Гвидоновой старой куртке, в бабушкином дырявом шарфе, с глазами, которые наконец-то перестали быть стеклянными. Агата — молчаливая, неторопливая, с корзинкой для грибов, которую так и не наполнила.

Они шли долго. Туда, где лес становился гуще, а тропы — менее различимыми. Туда, где двадцать лет назад двое чумазых детей пытались построить своё первое убежище.

— Здесь, — сказала Зоя, останавливаясь у старой сосны.

Никакого шалаша, конечно, не было. Ветки сгнили, палки рассыпались, мох затянул всё, что осталось. Только едва заметный прогиб в земле — след детства.

— Он был здесь, — сказала Зоя. — Я помню этот запах. Смола, прелая листва и… тишина.

Она села прямо на землю, подтянула колени к груди, обхватила руками. Котофей, увязавшийся следом, тут же оккупировал её колени.

— Мам, — сказала она. — А если я брошу работу?

— Бросай.

— А если я уволюсь и уеду жить в лес?

— Поживи.

— А если я никогда не построю новую карьеру и останусь никем?

— Ты не будешь никем. Ты будешь той, кто сидит в лесу под сосной и дышит. Этого достаточно.

Зоя посмотрела на неё долгим, недоверчивым взглядом.

— С каких это пор ты стала такой… спокойной? Раньше ты бы сказала: «Надо подумать, взвесить, не руби с плеча».

— Раньше я боялась, — сказала Агата. — Боялась, что если вы перестанете бежать, то упадёте. А теперь знаю: упадёте — встанете. Или не встанете, а останетесь лежать и смотреть на небо. Это тоже вариант.

Зоя молчала долго. Потом сказала:

— Я, кажется, никогда не смотрела на небо просто так. Всегда с какой-то целью: «Какая погода?», «Сколько времени до заката?», «Не пора ли убирать урожай?». А сейчас смотрю — и ничего не хочу от него. Просто — есть. Синее. Бесконечное. И я под ним — маленькая, глупая, без плана.

— И как это? — спросила Агата.

— Страшно, — сказала Зоя. — И… свободно.

Она вернулась в город через неделю.

Не потому, что отдохнула и набралась сил. Потому что поняла: отдых здесь ни при чём. Проблема была не в усталости, а в отсутствии внутреннего компаса.

— Я не знаю, что буду делать, — сказала она на прощание. — Может, уволюсь. Может, останусь. Может, попрошу перевести меня на полставки и пойду учиться на ландшафтного дизайнера. Я в детстве хотела сады разбивать. Помнишь?

— Помню, — сказала Агата. — Ты у меня в огороде всё время что-то перекапывала. Гвидон ругался, а я смотрела и думала: «Хорошо, что у неё есть к этому любовь».

— Была, — сказала Зоя. — Может, и осталась где-то. Надо откопать.

— Откопаешь, — сказала Агата. — Земля умеет ждать.

Зоя уехала. «Копейка» тарахтела, плевалась выхлопными газами, но везла хозяйку туда, куда она скажет.

Агата стояла на крыльце и смотрела вслед.

— Ты как? — спросил Котофей, вылезая из-за печи.

— Нормально, — сказала Агата. — Она впервые за двадцать восемь лет признала, что не знает, чего хочет. Это прогресс.

— И что теперь?

— Теперь будет не знать. Долго, мучительно, с ошибками. Будет пробовать, бросать, снова пробовать. Будет злиться на себя за нерешительность и на мир — за то, что он не даёт готовых ответов. А потом, в какой-то момент, перестанет требовать от себя ответов. И просто начнёт делать то, от чего у неё останавливается дыхание.

— Ты прямо видишь будущее? — усмехнулся Котофей.

— Нет, — сказала Агата. — Я помню себя.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №850.

Зоя сегодня спросила: «А если я никогда не построю новую карьеру и останусь никем?»

Я думала об этом весь вечер. Мы так боимся стать «никем». Пустым местом. Неудачниками. Людьми без статуса, без достижений, без понятного для общества результата. Мы вкалываем годами, чтобы на вопрос «Кто ты по профессии?» было чем гордиться.

А потом приходит выгорание — и оказывается, что все наши «кто-то» были построены на песке. Потому что они отвечали на вопрос «Что ты делаешь?», но не отвечали на вопрос «Кто ты есть?».

Зоя всю свою сознательную жизнь старалась делать все быстро, качественно, успешно. И теперь она пуста не потому, что устала, а потому что делала чужую жизнь. Ту, которую одобряют, ценят, оплачивают. А свою — забыла в шалаше двадцатилетней давности.

В йога-сутрах это называется авидья — неверное восприятие реальности. Зоя воспринимала себя как функцию. Исцеление начинается, когда функция перестаёт быть единственной идентичностью.

«Кривой шалаш» — не метафора неудачи. Это метафора дома, который ты построил сам. Без чертежей, без одобрения, без гарантий. Просто потому, что хотел спрятаться от мира и дышать в унисон с братом.

Я не знаю, уволится ли Зоя с работы. Не знаю, станет ли она ландшафтным дизайнером. Но я знаю, что она вспомнила запах мха и тишину. А это уже не забывается.

Котофей рекомендует:

Кошки — мастера по части «быть никем». Мы не строим карьеру, не копим на квартиру, не волнуемся о самореализации. Мы просто существуем — греем пузо на солнце, ловим мышей от скуки, требуем еду по расписанию. И при этом ни одна кошка не страдает экзистенциальным кризисом.

Почему? Потому что мы не путаем «делать» и «быть». Мы делаем ровно столько, сколько нужно для комфортного бытия. Остальное время — просто бытийствуем.

Зоя забыла, как это — просто бытийствовать. Она всё время делала. Даже отдых — это было дело («надо отдохнуть, чтобы продуктивнее работать»).

Сейчас она учится заново. Сидеть на земле, смотреть на небо, не планировать завтрашний день. Это не лень. Это — возвращение к себе.

Кошки одобряют. Хотя считают, что учиться этому двадцать восемь лет — перебор. Мы осваиваем этот навык к трём месяцам.

Мяу.

Через две недели Зоя позвонила.

— Я написала заявление, — сказала она. — На полставки. Начальник сначала офигел, потом сказал: «Ты с ума сошла, у тебя же карьера». Я сказала: «У меня карьера была. А теперь будет жизнь».

— И что он?

— Сказал, подумает. Я сказала: «Думайте, я не тороплюсь». И повесила трубку.

Агата молчала. Слушала дыхание дочери в трубке.

— Мам, — сказала Зоя. — У меня руки трясутся. Я никогда не говорила начальнику «подумайте». Я всегда говорила «сделаю». И делала. А сейчас — просто жду. И не знаю, что будет.

— Это и есть жизнь, — сказала Агата. — Когда не знаешь, что будет.

— Страшно.

— Знаю.

— Но хорошо, — сказала Зоя. — Странно, но хорошо. Как будто я перестала бежать марафон, села на обочину и наконец-то почувствовала, что у меня есть ноги. Они болят. Но они есть.

— Ноги нужно беречь, — сказала Агата. — В марафоны ещё набегаешься.

— Не хочу больше марафоны, — сказала Зоя. — Хочу шалаш. Маленький, кривой, в лесу.

— Построй, — сказала Агата. — Я помогу.

— Поможешь?

— Помогу ветки собирать. И молчать рядом.

Зоя всхлипнула в трубку.

— Спасибо, — сказала она. — Я, наверное, попозже перезвоню.

— Перезванивай.

Агата положила трубку и долго смотрела в окно.

— Плачешь? — спросил Котофей.

— Нет, — сказала Агата. — Радуюсь.

— А почему тогда мокро?

— Потому что радость бывает мокрая. Ты, как кот, должен это знать.

Котофей фыркнул, но спорить не стал.

Клиентский кейс №7. Тема: Профессиональное выгорание, кризис идентичности, утрата контакта с собственными желаниями. Используемые метафоры: скрипка с ослабленными струнами; пустота между нотами; кривой шалаш в лесу; марафон и обочина. **Ключевая сутра (скрытая):** *Саттва* — ясность, чистота восприятия. Зоя годами находилась в состоянии *раджаса* — бесконечной активности, суеты, стремления к результату. Её ум был замутнён «деланием». Выгорание стало не болезнью, а **очищением**. Когда активность исчерпала себя, появилась пустота. А в пустоте — возможность увидеть себя настоящую. **Результат:** Признание права на «незнание». Первый шаг к снижению темпа. Возвращение к детскому опыту (шалаш) как к точке опоры. **Работа Агаты с собой:** Отказ от роли «спасателя» — она не предлагала Зое готовых решений, не убеждала, не уговаривала. Просто была рядом. Впервые — не как Яга, а как мать, которая держит пространство.

Ночью Агате приснился шалаш.

Не тот, детский, кривой и дырявый. Другой — большой, прочный, с толстыми стенами из веток и мха. Внутри горел огонь, пахло смолой и чаем.

В шалаше сидели все.

Гвидон — чинил лыжи. Фил — смотрел в ноутбук, но пальцы не бегали по клавишам, просто лежали. Злата — читала книгу, привалившись к тёплому боку Котофея. Марфа Петровна — вязала, шерсть синяя, петли ровные, лицо спокойное.

И Зоя.

Зоя сидела у огня, обхватив колени, и смотрела на пламя. Не в телефон, не в календарь, не в список задач. Просто — смотрела.

— Ты чего? — спросила Агата.

— Дышу, — сказала Зоя. — В унисон.

Агата проснулась.

В избе было тихо. За окном — темнота, снег, далёкие звёзды.

Она полежала, глядя в потолок.

— Котофей, — позвала она шёпотом.

— Мяу.

— Ты спишь?

— Сплю.

— А разговариваешь?

— Сплю и разговариваю. Я кот, я многозадачный.

— Мне приснился шалаш. Там все были.

— И как?

— Хорошо. Тихо. Дышали в унисон.

— Значит, так и будет, — сказал Котофей. — Не завтра, не послезавтра. Но будет. Шалаши вообще долго строятся.

— А мы построим?

— Вы уже строите. Каждый день. Каждым разговором. Каждым молчанием.

Агата кивнула.

Она закрыла глаза и провалилась в сон — без сновидений, глубокий, как зимний лес.

Глава 8

Узлы и пустота
Или о том, что не всякую боль можно распутать

Она пришла под вечер, когда тени уже налились синевой, а лес за окном перестал быть зелёным и сделался графитовым.

Агата не слышала шагов. Просто подняла голову от расклада — и увидела женщину, стоящую на пороге.

Ни имени, ни возраста, ни примет. Серый платок, серое пальто, серое лицо. Даже глаза — и те были бесцветными, как вода в пасмурный день.

— Можно? — спросила женщина. Голос — без интонаций, без надежды, без просьбы. Просто констатация: я здесь, дверь открыта, ты можешь меня впустить или не впустить, мне уже всё равно.

— Заходи, — сказала Агата.

Женщина вошла. Села на краешек лавки, сложила руки на коленях. Не сняла платок, не расстегнула пальто. Будто не собиралась задерживаться.

— Мне сказали, вы умеете распутывать, — сказала она. — Я принесла узел. Посмотрите.

Она протянула руки. На ладонях лежал клубок ниток — старых, полинявших, спутанных в плотный, непроглядный ком. Ни начала, ни конца, ни просвета.

Агата взяла клубок. Пальцы сами нащупали привычную работу — найти кончик, потянуть, распустить петлю за петлей.

Кончика не было.

Она искала минуту, две, пять. Нить уходила вглубь, затягивалась, возвращалась к себе же, не желая открывать тайну своего начала.

— Странный узел, — сказала Агата.

— Я знаю, — сказала женщина. — Я двадцать лет пытаюсь его распутать. У психологов, у священников, у бабок, у экстрасенсов. Все говорят: «Надо найти причину». А я не могу найти. Потому что её нет. Или она есть, но так глубоко, что я боюсь туда нырять.

Агата смотрела на клубок. Пальцы продолжали механически перебирать нити, но ум уже остановился. Остановился и признал: здесь нет входа.

— Расскажи, — сказала она. — Не про узел — про себя.

Женщина молчала долго. Смотрела на свои руки, на клубок в ладонях Агаты, на тени, ползущие по стене.

— Меня зовут Таисия, — сказала она наконец. — Мне пятьдесят три. У меня есть муж, двое взрослых детей, внучка. Квартира, дача, машина. Всё, как у людей. Даже лучше, чем у людей. Муж не пьёт, не бьёт, зарплату приносит. Дети выучились, работают, звонят по воскресеньям. Внучка красивая, умная, на пианино играет.

Она замолчала. Сглотнула.

— А я просыпаюсь каждое утро и думаю: «Зачем?» Не зачем жить — зачем просыпаться. Вставать, чистить зубы, заваривать чай, разговаривать с мужем о погоде. Всё это есть, а смысла — нет. Как будто я уже умерла, а тело по привычке продолжает двигаться. И этот узел… он не болит. Он просто есть. Тяжёлый, холодный, внутри. Я ношу его двадцать лет и уже не помню, как это — без него.

Агата слушала. Пальцы её замерли на узле.

— Ты знаешь, с чего это началось? — спросила она.

— Не знаю, — сказала Таисия. — Я пыталась вспомнить. Перебирала год за годом. Детство — нормально, не богато, но и не голодно. Юность — институт, друзья, первая любовь. Замужество — по любви, мы до сих пор вместе. Роды — тяжело, но все живы. Работа — не любимая, но терпимая. Где-то здесь должна быть точка, где всё пошло не так. Но я её не нахожу. Может, её и нет.

— Может, и нет, — сказала Агата. — Иногда боль не начинается. Она просто — есть. Как родимое пятно. Как цвет глаз.

— И что с этим делать? — спросила Таисия. — Если нельзя найти причину и устранить — что тогда?

Агата молчала.

Она привыкла работать с причиной и следствием. Это был её метод, её сила, её идентичность. «Вот корень — выдерни — дерево засохнет». Так она лечила измены, потери, страхи, обиды. Всегда можно было найти тот самый день, тот самый поступок, то самое слово, с которого началась болезнь.

А здесь — не было.

Как будто она держала в руках не клубок, а живое существо, у которого не было ни головы, ни хвоста, только бесконечное, спутанное тело.

— Я не знаю, — сказала Агата.

Таисия подняла глаза. В них впервые мелькнуло что-то живое — не надежда, удивление.

— Вы первый человек, который мне это сказал, — произнесла она. — Все остальные знали. «У вас неразрешённый конфликт с матерью». «У вас родовая травма». «У вас кармический узел, надо отмаливать». А вы говорите: «Я не знаю».

— Я правда не знаю, — сказала Агата. — Я могу только смотреть на этот узел вместе с тобой. Не распутывать, не резать, не лечить. Просто — смотреть.

Таисия кивнула.

— Этого достаточно, — сказала она. — Мне никто никогда не смотрел с ними вместе. Все хотели их развязать. Или отрезать. А я не хочу резать. Я хочу, чтобы кто-то признал: этот узел — часть меня. Не болезнь, не ошибка, не грех. Просто — часть.

— —

Они сидели в тишине до самой темноты.

Не говорили о прошлом, не искали причин, не строили теорий. Смотрели на узел. Иногда Агата брала его в руки, перебирала нити — не распутывая, просто ощупывая, запоминая. Иногда передавала Таисии, и та держала его на ладонях, грела дыханием.

— Я никогда не показывала его никому, — сказала Таисия. — Двадцать лет носила внутри, как тайный позор. Думала, если люди узнают, что у меня внутри такая путаница, они увидят, какая я на самом деле — несостоявшаяся, незавершённая, сломанная.

— А сейчас? — А сейчас смотрю на него с вами и думаю: может, это не сломанность. Может, это просто… сложность. Я сложная. Моя жизнь сложная. Не драматичная, не героическая, не трагическая — просто сложная. Как этот узел. В нём нет смысла, но есть красота. Если не пытаться его распутать, а просто рассматривать.

Агата кивнула.

— Ты первый человек, — сказала она, — кто пришёл ко мне не с просьбой «почини», а с просьбой «посмотри». Я не умела раньше просто смотреть. Мне нужно было лечить, спасать, находить ответы. А ты научила меня другому.

— Чему? — спросила Таисия.

— Что иногда достаточно просто держать чью-то боль в руках и не пытаться её уменьшить.

— —

Таисия ушла за полночь.

Узел она оставила.

— Я хочу, чтобы он побыл у вас, — сказала она. — Не навсегда — на время. Я вернусь. Не за ответами — за ним. Просто сейчас мне легче без него. Но он мой, я знаю.

— Я сохраню, — сказала Агата.

Таисия надела платок, застегнула пальто. У порога обернулась.

— Вы знаете, — сказала она, — я ведь не поэтому пришла. Не за исцелением. Я пришла, чтобы услышать, что я не обязана быть исцелённой. Что можно жить с узлом внутри и не считать себя бракованной.

— Можно, — сказала Агата.

— Спасибо, — сказала Таисия. — Я, наверное, ещё приду.

— Приходи.

Дверь закрылась.

Агата осталась одна. С узлом на ладони.

Он лежал — тёмный, плотный, непроницаемый. Не грел, не холодил, не пульсировал. Просто был.

— И что ты с ним будешь делать? — спросил Котофей с печи.

— Ничего, — сказала Агата. — Просто положу на полку. Рядом с колыбелькой.

— И всё?

— И всё.

— А если она не вернётся?

— Вернётся. Это её узел. Она без него не может.

— А ты?

— А я могу, — сказала Агата. — Я могу держать чужую боль, не пытаясь её переварить. Кажется, я только начинаю этому учиться.

— —

Методическая врезка.

Дневник Яги. Запись №851.

Сегодня я встретила женщину, у которой нет травмы.

Я искала причину — и не нашла. Ни насилия, ни потери, ни предательства, ни катастрофы. Обычная жизнь, обычные трудности, обычные радости. И внутри — узел. Не от чего-то, а просто — узел.

Я всегда думала, что боль — это следствие. Что у неё есть начало, причина, виновник. Что если найти точку входа, можно вытащить нить и распустить всё до конца.

А сегодня поняла: иногда боль — это не следствие. Это свойство. Как форма черепа, как группа крови, как рисунок вен на запястье. Ты не выбираешь её. Ты просто с ней живёшь.

В йога-сутрах есть понятие духкха — страдание как неотъемлемое свойство существования. Не наказание, не ошибка, не сбой. Просто — свойство. Как у огня — жар, у воды — текучесть, у ветра — движение.

Таисия не сломана. Она просто — такая. Сложная, спутанная, неразгаданная. И её исцеление — не в распутывании. А в праве быть нераспутанной.

Я положила её узел на полку. Рядом с колыбелькой, в которой никто не спал. Рядом с берестой, на которой пишу эти строки.

Пятнадцать лет я лечила людей. Сегодня я просто подержала чужую боль в руках.

И этого оказалось достаточно.

— —

Котофей рекомендует:

Кошки не лечат. Кошки ложатся на больное место и греют. Иногда этого достаточно, чтобы боль утихла. Не исчезла — утихла. До следующего приступа.

Агата всю жизнь хотела быть хирургом. Вырезать, прижигать, удалять. Чтобы чисто, стерильно, без рецидивов. Но хирург бессилен там, где нечего резать. Где боль разлита по всему телу, как синяк, у которого нет границ.

Тогда остаётся только лечь рядом и греть.

Кошки знают это с рождения. Люди учатся годами. Иногда — всю жизнь.

Агата сегодня сделала первый шаг. Она не резала. Она грела.

Мяу.

— —

Узел лежал на полке три дня.

Агата проходила мимо, смотрела краем глаза, но не трогала. Он не мешал. Не притягивал взгляд, не требовал внимания. Просто лежал — тёмный, плотный, чужой.

На четвёртый день пришла Зоя.

Не звонила, не предупреждала — как в прошлый раз, ввалилась во двор на своей тарахтящей «копейке», хлопнула дверцей, с порога крикнула:

— Мам, я уволилась!

— Совсем? — спросила Агата.

— Совсем! — Зоя сияла. — На полставки не разрешили, сказали или полный день, или до свидания. Я сказала «до свидания». И знаешь, мне даже не страшно. Я неделю ходила как в воду опущенная, а сегодня проснулась и поняла: свобода.

Она замолчала, заметив узел на полке.

— А это что?

— Клубок, — сказала Агата. — Клиентка оставила.

— Красивый, — сказала Зоя, разглядывая переплетения. — Запутанный, но красивый. Как будто в нём спрятан узор, просто мы его не видим, потому что нитки налезают друг на друга.

— Узор есть, — сказала Агата. — Только он не для разгадывания. Он для рассматривания.

Зоя кивнула. Помолчала.

— Я тоже всё время пыталась разглядеть узор своей жизни, — сказала она. — Думала, если правильно сложить карьеру, отношения, планы — получится картинка. Как пазл. А пазл не складывался. Куски не подходили, края не совпадали, в середине всё время зияла дыра. Я злилась, подпиливала, заталкивала силой. А теперь смотрю на этот узел и думаю: может, моя жизнь — не пазл. Может, она — вот это. Клубок. Без правильного узора, без инструкции, без гарантии, что его вообще можно распутать.

— И что ты будешь делать с таким клубком? — спросила Агата.

— Жить, — сказала Зоя. — Просто жить. Иногда тянуть за одну нитку, иногда — за другую. Иногда замирать и рассматривать. Иногда откладывать в сторону. Не потому, что я нашла ответ, а потому что вопрос перестал быть главным.

Агата смотрела на дочь. На её растрёпанные волосы, на счастливые, испуганные, живые глаза.

— Ты выросла, — сказала она.

— Поздно, — усмехнулась Зоя. — В двадцать восемь-то.

— Не поздно, — сказала Агата. — В самый раз.

— —

Вечером они сидели на крыльце втроём — Агата, Зоя и Котофей, оккупировавший Зоины колени. Гвидон уехал в лес, Фил корпел над кодом, Злата была в кофейне — у них там по средам были особые заказы, и Рубен доверял ей готовить сиропы.

— Мам, — сказала Зоя. — А ты чего хочешь?

— В смысле?

— Ну, вот я всю жизнь бежала, потому что боялась остановиться и понять, что ничего не хочу. А сейчас остановилась — и оказалось, что хочу. Шалаш, лес, тишину, может, сад какой-нибудь разбить. А ты? Ты чего хочешь?

Агата долго молчала.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Я привыкла хотеть за вас. Чтобы у вас всё было, чтобы вы были здоровы, чтобы вы нашли свой путь. А для себя… не умею.

— Научись, — сказала Зоя. — У тебя теперь есть время. Мы уже не разбежимся. Мы будем приезжать, звонить, пить чай. А ты — сидеть на крыльце и хотеть. Чего угодно. Кофе с корицей. Новый фартук. Чтобы рябина зацвела. Чтобы Котофей похудел на полкило.

— Это невозможно, — сказал Котофей, не открывая глаз. — Я в идеальной форме.

— Вот, — сказала Зоя. — Уже есть первое желание. Чтобы кот признал, что он толстый.

— Я не толстый. Я пушистый.

— Пушистый, — согласилась Агата. — Очень пушистый.

Котофей фыркнул, но остался доволен.

— —

Таисия вернулась через две недели.

Вошла так же тихо, села на ту же лавку. Только платок был другой — не серый, синий, и пальто расстегнуто.

— Я пришла за узлом, — сказала она.

Агата протянула клубок.

Таисия взяла его в ладони, долго смотрела. Потом спрятала в карман.

— Знаете, — сказала она, — я эти две недели жила без него. Не физически — он у вас лежал. А внутри — пустота. Я думала, обрадуюсь. Думала: наконец-то легко, наконец-то ничего не давит, наконец-то я свободна. А мне было… одиноко. Я по нему скучала.

— По узлу?

— По себе с узлом. Я двадцать лет была «та, у которой внутри клубок». А без него — кто я? Незнакомка. Я себя не узнавала в зеркале.

Агата кивнула.

— Я поняла, — сказала Таисия, — что он не враг. Не болезнь, не ошибка, не наказание. Он — мой способ жить. Сложно, запутанно, без гарантий. Но — мой. И я не хочу от него отказываться.

— А чего ты хочешь? — спросила Агата.

Таисия подумала.

— Научиться с ним жить, — сказала она. — Не бороться, не распутывать, не стыдиться. Просто — жить. Иногда доставать, рассматривать, перебирать нитки. Иногда забывать на полке. Иногда давать подержать другим — тем, кто тоже запутался.

— Это хорошее желание, — сказала Агата.

— Я тоже так думаю, — сказала Таисия.

Она встала, застегнула пальто. У порога обернулась.

— Я приду ещё, — сказала она. — Не с узлом — просто в гости. У вас тут… спокойно. И кот красивый.

— Пушистый, — поправила Агата.

— Пушистый, — согласилась Таисия. — Это я и хотела сказать.

Она вышла.

Котофей, услышав комплимент, довольно потянулся и начал вылизывать лапу.

— Нравится тебе, — сказала Агата.

— Комплименты всем нравятся, — сказал Котофей. — Даже тем, кто не признаётся.

— —

Клиентский кейс №8.

Тема: Хроническая экзистенциальная боль без чёткой травмы, принятие «неисцелимости» как формы жизни.

Используемые метафоры: узел без начала и конца; клубок как часть себя; право на нераспутанность.

Ключевая сутра (скрытая): Духкха — страдание как свойство существования. Таисия двадцать лет пыталась найти причину своей боли, потому что причина предполагает решение. Принять, что боли не обязательно иметь причину, — значит перестать лечить и начать жить с.

Результат: Отказ от поиска виноватых и травм. Легитимизация «сложности» как нормы. Возвращение узла не как поражение, а как интеграция.

Работа Агаты с собой: Кризис метода. Агата впервые призналась, что «не знает». Это признание не разрушило её как специалиста — наоборот, открыло новую глубину работы: не распутывание, а присутствие.

Ночью Агата сидела у окна и смотрела на звёзды.

Котофей, нарушив все законы кошачьего сна, сидел рядом и тоже смотрел. Наверное, на мышей. Или на звёзды.

— Знаешь, — сказала Агата, — я пятнадцать лет считала, что моя работа — находить кончик нитки. А сегодня поняла: иногда кончика нет. И это не провал. Это просто другая реальность.

— И какая у тебя теперь работа? — спросил Котофей.

— Не знаю, — сказала Агата. — Наверное, сидеть рядом с теми, у кого нет кончика. И не врать, что он есть.

— Это сложнее, чем распутывать?

— Сложнее. Потому что нечем гордиться. Нет результата, нет диагноза, нет красивой истории исцеления. Есть только — я здесь, я вижу, я не ухожу.

— И этого достаточно?

— Не знаю, — сказала Агата. — Спроси меня через десять лет.

— Спрошу, — сказал Котофей. — Я долго живу.

Они помолчали.

— Знаешь, — сказала Агата, — а ведь она права. В узле есть красота. Не та, которую выставляют в музее. Та, которую замечаешь, когда перестаёшь требовать от вещей пользы.

— Мяу, — сказал Котофей. — Я тебе это постоянно твержу.

— Ты твердишь про сметану и тёплые колени.

— Это и есть главная красота мира. Всё остальное — производное.

Агата улыбнулась.

За окном падал снег. Рябина стояла тёмная, мокрая, с ягодами, похожими на капли застывшей крови. Где-то в кофейне Злата взбивала пену для капучино. Где-то в своей комнате Фил писал код, переводящий взгляд в слова. Где-то в лесу Гвидон прокладывал лыжню. Где-то в городе Зоя училась жить без плана. Где-то в своей квартире Марфа Петровна довязывала второй синий шарф — ровными, аккуратными петлями.

А на полке, рядом с берестяной колыбелькой и сухими травами, больше ничего не лежало.

Узел ушёл домой.

К своей хозяйке.

К своей красоте.

Глава 9

Марфа Петровна и разбитая чашка
Или о том, что скорбь не измеряется величиной потери

Она пришла с утра, что само по себе было странно.

Марфа Петровна не приходила по утрам. Утра она посвящала гимнастике, завтраку по расписанию и обзору новостей в своём планшете — последнем подарке Фила, который она сначала отвергла («мне не нужны эти ваши цифровые излишества»), а потом освоила за три дня и теперь читала ленту с выражением лица «я просто проверяю факты, а не развлекаюсь».

Но сегодня она стояла на пороге в седьмом часу, без звонка, без мандаринов, без авоськи. В руках — завёрнутый в льняное полотенце свёрток. И лицо у неё было такое, будто она потеряла что-то навсегда.

— Заходи, — сказала Агата, отодвигая заслонку. — Чай?

— Нет, — сказала Марфа Петровна. — Я разбила чашку.

Она развернула полотенце.

На свет появились осколки. Много, крупных и мелких, с неровными краями, похожие на черепки древней амфоры. Фарфор был старый, толстостенный, с выцветшим синим цветком на боку — такие уже давно не выпускали.

— Гвидонова, — сказала Марфа Петровна. Голос у неё был плоский, как у диктора, читающего сводку погоды. — С института. Он из неё пил каждый день. Утром — чёрный, вечером — с мятой, когда болел — с лимоном и мёдом. Сорок лет. Я мыла её тысячу раз. И сегодня утром взяла, чтобы убрать в шкаф, и — выскользнула. Сама. Я не роняла, я держала. Она выскользнула.

Она замолчала. Смотрела на осколки.

— Я хотела склеить, — сказала она. — Собрала всё, что нашла. Искала под столом, под батареей, даже за холодильником. Думала: если соберу все кусочки, можно будет восстановить. Как в лаборатории — препарат разбился, а ты берёшь пинцет и складываешь обратно. Не для работы — для отчётности.

Она перевела дыхание.

— А потом поняла: не соберу. Слишком мелко. Некоторые осколки — в пыль. И даже если склеить, останутся швы. И в эти швы будет затекать чай, и он никогда уже не будет чистым. И я… я не знаю, что теперь делать.

Агата смотрела на свекровь. На её сухие, жилистые руки, сжимающие край полотенца. На её лицо, которое в семьдесят шесть лет вдруг стало лицом маленькой девочки, потерявшей в песочнице любимую лопатку.

— Вы расстроены, — сказала Агата.

— Я в порядке, — автоматически ответила Марфа Петровна. — Это всего лишь чашка.

— Я не спрашиваю, в порядке ли вы. Я говорю: вы расстроены.

Марфа Петровна молчала долго. Смотрела на осколки.

— Я не имею права расстраиваться, — сказала она наконец. — У людей дети умирают, мужья бросают, дома сгорают. А у меня — чашка. Мне должно быть стыдно, что я стою здесь с этим мусором и занимаю ваше время.

— Кому должно?

— Что?

— Кому должно быть стыдно? Кто этот судья, который смотрит на ваше горе и говорит: «Недостаточно веская причина, проходите, не задерживайте очередь»?

Марфа Петровна открыла рот. Закрыла. Открыла снова.

— Я сама, — сказала она. — Я этот судья. Я всю жизнь себе говорю: «Марфа, не расклеивайся. Марфа, соберись. Марфа, это не повод для эмоций». И когда я действительно расклеиваюсь — я себя презираю.

— А чашку вам жалко?

— Жалко, — сказала Марфа Петровна, и голос её вдруг дрогнул. — Очень жалко. До слёз. До комка в горле. До желания пойти в магазин и купить точно такую же, хотя я знаю, что таких уже не делают. До глупой, иррациональной мысли: «Это плохая примета. Если разбилась его чашка — значит, что-то случится с ним».

— С Гвидоном?

— С Гвидоном, — кивнула Марфа Петровна. — Я понимаю, что это бред. Я учёный, я не верю в приметы. Но внутри — сидит и грызёт. И я не могу это контролировать.

Агата протянула руку и накрыла ладонью её руку. Марфа Петровна вздрогнула, но не отдёрнула.

— Знаете, — сказала Агата, — когда Зоя была маленькая, у неё была любимая игрушка. Плюшевый заяц, облезлый, с одним ухом. Она таскала его везде, не могла заснуть без него. А потом мы поехали в гости к моей сестре, и заяц остался на лавочке у подъезда. Мы искали его три дня. Зоя рыдала так, будто умер человек. Я говорила: «Это всего лишь игрушка, купим новую». А она кричала: «Не надо новую! Мне нужен этот!»

— И что вы сделали? — спросила Марфа Петровна.

— Нашла, — сказала Агата. — На расклейке объявлений висел. Кто-то нашёл и принёс. Зоя обнимала его неделю, не выпускала из рук. А потом он снова стал просто игрушкой. Но тогда — был целым миром.

— И к чему вы это рассказываете?

— К тому, что мы не выбираем, к чему прирастать сердцем. Иногда это дети, иногда — мужья, иногда — старые чашки. Горе не измеряется величиной потери. Оно измеряется только одним: тем, что для вас это было важно.

Марфа Петровна молчала. Потом очень осторожно, двумя пальцами, взяла самый крупный осколок — тот, на котором уцелел синий цветок.

— Я помню, как мы покупали эту чашку, — сказала она. — Гвидону было девятнадцать, он только поступил в институт. Мы пришли в универмаг за тетрадями, а он увидел эту чашку и сказал: «Мам, смотри, цветок как на твоём халате». У меня тогда был халат, ситцевый, в синих незабудках. Я его носила десять лет, пока не расползся по швам. А Гвидон запомнил.

Она провела пальцем по краю осколка.

— Я думала, это просто чашка. А это — память. О том, что он смотрел на меня и видел незабудки. О том, что я была для него не просто «мама», а человек с рисунком на халате. О том, что мы были… близки. Когда-то. До того, как я стала железной.

— Вы не железная, — сказала Агата.

— Я притворялась, — сказала Марфа Петровна. — Сорок лет притворялась. Думала, если показывать слабость — меня перестанут уважать. Если плакать — сочтут истеричкой. Если признаться, что мне страшно за сына, — решат, что я не контролирую ситуацию. Я так хотела быть правильной матерью, что забыла, как быть просто матерью.

Она посмотрела на Агату. В глазах — не слёзы, сухость, но какая-то новая, непривычная мягкость.

— А ты, — сказала она, — ты никогда не боялась быть неправильной. Ты носишь этот свой уродский фартук, принимаешь клиентов в избе с пауками, разговариваешь с котом как с человеком. И Гвидон тебя любит. И дети к тебе едут. И даже я… я к тебе пришла. Не к сыну — к тебе. Потому что знаю: ты не скажешь «это всего лишь чашка».

— Это не всего лишь чашка, — сказала Агата. — Это сорок лет. Это незабудки на халате. Это девятнадцатилетний мальчик, который стал вашим сыном заново — уже взрослым, уже отдельным, но всё ещё помнящим, как выглядят цветы, которые носила мама. Это не чашка. Это — сосуд для любви. И он разбился.

Марфа Петровна кивнула.

— И что теперь? — спросила она.

— Теперь — горевать, — сказала Агата. — Не быстро, не культурно, не «по протоколу». Сидеть с этими осколками, перебирать их, вспоминать. Плакать, если хочется. Злиться на себя за неловкость. Жалеть, что нельзя вернуть. Всё, что приходит.

— А потом?

— А потом — решить, что делать дальше. Склеить — и пить из чашки со швами. Или не склеивать, а сделать из осколков мозаику. Или закопать под рябиной — как колыбельку. Или оставить на полке — как узел Таисии. Это ваша чашка, ваша память, ваше горе. Только вам решать.

Марфа Петровна долго молчала.

— Я хочу попробовать склеить, — сказала она. — Не для того, чтобы пить. Просто чтобы она была. Пусть со швами, пусть негерметичная. Главное — целая.

— Попробуйте, — сказала Агата. — У меня есть клей. Хороший, эпоксидный. Фил привозил для своих экспериментов.

— Не сейчас, — сказала Марфа Петровна. — Сейчас я просто посижу с ними. Попрощаюсь.

— Сидите, — сказала Агата. — Я чай поставлю.

— —

Она сидела с осколками до обеда.

Перебирала, складывала, примеряла края друг к другу, как пазл. Некоторые подходили идеально — плотно, без зазоров. Другие рассыпались в руках. Третьи вообще не находили пары.

— Тридцать семь, — сказала она наконец. — Тридцать семь осколков. Я насчитала.

— Много, — сказала Агата.

— Я думала, будет больше. Когда разбивается что-то целое, кажется, что осколков — бесконечность. А на самом деле их всегда конечное число.

— Как и горя, — сказала Агата. — Кажется, что ему нет конца, а оно всегда конечное. Просто не сразу видно край.

Марфа Петровна кивнула.

— Я позвоню Гвидону, — сказала она. — Скажу, что разбила чашку. Извинюсь.

— За что?

— За то, что не уберегла. За то, что сорок лет назад не купила две одинаковые — на запас. За то, что вообще не умею беречь то, что дорого, пока оно целое.

— Он не рассердится.

— Знаю. Он скажет: «Мам, это всего лишь чашка». И я не обижусь, потому что он прав. Но я всё равно извинюсь. Чтобы он знал: для меня это не «всего лишь».

— Звоните, — сказала Агата.

Марфа Петровна достала телефон. Набрала номер. Поднесла к уху.

— Гвидон, — сказала она. — Я тут у Агаты. Да, всё в порядке. Я чашку твою разбила. Синюю, с цветком. Извини.

Пауза.

— Нет, не специально. Сама выскользнула. Я пыталась склеить, но много мелких.

Пауза.

— Не надо новую. Я хочу эту склеить. Пусть со швами.

Пауза.

— Спасибо. Да, передам. Пока.

Она убрала телефон.

— Сказал: «Мам, я её сорок лет назад разбил мысленно раз десять. Ты вообще молодчина, что столько продержала». И ещё сказал: «Швы не страшно, главное — чтобы держалась».

— Хороший у вас сын, — сказала Агата.

— Хороший, — сказала Марфа Петровна. — И невестка тоже ничего.

Агата улыбнулась.

— Это вы про меня?

— Про тебя, — сказала Марфа Петровна. — Хотя фартук у тебя действительно уродский. Я тебе новый свяжу. Серый, практичный. И карманы укреплю, чтобы клубки не терялись.

— Спасибо, — сказала Агата.

— Не за что, — сказала Марфа Петровна. — Ты мне клей обещала.

Методическая врезка.

Дневник Яги. Запись №852.

Сегодня Марфа Петровна разрешила себе горевать о чашке.

Я думала об этом весь вечер. О том, как мы делим потери на «достойные» и «недостойные». Смерть — достойно. Развод — достойно, если долго прожили. Увольнение — уже с натяжкой, но можно. А разбитая чашка — стыдно, мелочно, несерьёзно.

Но горе не спрашивает разрешения. Оно приходит всегда, когда рвётся связь. Неважно, что было на другом конце — человек, дом, игрушка, посуда. Важно, что в этот предмет была вложена любовь. И когда он разбивается, разбивается и кусочек сердца.

Марфа Петровна сорок лет вкладывала любовь в эту чашку. Каждое утро, наливая чай сыну, она говорила без слов: «Я здесь. Я помню. Я люблю». И сын брал чашку и отвечал: «Я знаю. Я помню. Я тоже».

Чашка стала мостом. Мост рухнул. И она, учёный, атеист, железная женщина, сидела над осколками и оплакивала не фарфор — оплакивала сорок лет молчаливого диалога, которые вдруг потеряли форму.

В йога-сутрах есть понятие *абхинивеша* — страх смерти. Обычно его переводят как страх умереть самому. Но сегодня я думаю, что это ещё и страх потерять тех, кого любишь. И даже — страх потерять вещи, которые этими людьми пахнут, к которым они прикасались, в которые вложили частицу себя.

Марфа Петровна не боится смерти. Она боится, что без чашки Гвидон забудет, как она его любила. Что память — слишком зыбкая материя, ей нужны якоря. Чашка была якорем. Теперь якорь утонул.

Но она не утонула вместе с ним. Она сидит на моей кухне и склеивает осколки. И в каждом шве — не стыд за неловкость, а честность. «Да, я разбила. Да, не уберегла. Но я не выбросила. Я собираю обратно. Потому что любовь не заканчивается там, где заканчивается целостность».

Я думаю, это и есть бессмертие.

Котофей рекомендует:

Кошки не склеивают разбитые чашки. Кошки смотрят на осколки, нюхают их, трутся мордой о края. Потом уходят на печь и сворачиваются клубком. Потому что кошки знают: вещи имеют свойство разбиваться. А воспоминания — нет.

Марфа Петровна сорок лет хранила чашку. Теперь она будет хранить осколки. Или склеенную чашку со швами. Или мозаику из черепков. Форма изменится, содержание — нет.

Люди слишком цепляются за форму. Кошки цепляются за тепло. Чашка была тёплой, когда в неё наливали чай. Осколки — холодные. Но руки Марфы Петровны, которые их пере-

бирают, — тёплые. И Гвидон, который скажет «склеивай, не парься», — тёплый. И Агата, которая поставила чайник и не сказала «это всего лишь чашка», — тёплая.

Мораль: грейте руки. Остальное приложится.

Мяу.

— —

Она склеивала чашку три дня.

Приходила с утра, садилась за стол, раскладывала осколки в определённом ею самой порядке. Сначала — крупные, формирующие корпус. Потом — средние, заполняющие пустоты. Потом — самые мелкие, которые она подбирала пинцетом, капля клея, миллиметр за миллиметром.

Агата не мешала. Ставила чай, подкладывала салфетки, убирала готовые фрагменты сушиться на подоконник.

— Раньше я думала, — сказала Марфа Петровна на второй день, — что клей — это обман. Склеенная вещь уже никогда не будет целой. Зачем тратить время на имитацию?

— А теперь?

— А теперь я вижу, что клей — не обман. Клей — это продолжение. Вещь не возвращается в исходное состояние, но она не исчезает. Она становится другой. Со шрамами. Но живой.

Она подняла чашку к свету. Сквозь трещины пробивался солнечный зайчик.

— Красиво, — сказала она. — Как витраж.

На третий день она принесла чашку Гвидону.

Он сидел на крыльце, чинил лыжное крепление. Увидел материны руки, протягивающие ему нечто синее, полосатое, светящееся.

— Ого, — сказал он. — Ты её собрала.

— Собрала, — сказала Марфа Петровна. — Держи. Только чай не наливай — протечёт. Я не гарантирую герметичность.

Гвидон взял чашку. Повертел в руках. Провёл пальцем по шву — толстому, выпуклому, эпоксидному.

— Красивая, — сказал он. — Даже лучше, чем была.

— Врёшь, — сказала Марфа Петровна. — Была целая, теперь в заплатках.

— Целая была — как у всех, — сказал Гвидон. — А эта — только у меня. С мамиными швами.

Марфа Петровна смотрела на сына. Смотрела долго, не отрываясь.

— Я тебя люблю, — сказала она.

Гвидон замер.

— Я знаю, мам, — сказал он. — Я всегда знал.

— Знал, но я не говорила, — сказала Марфа Петровна. — Сорок лет не говорила. Думала, слова не обязательны. А они обязательны. Потому что чашки разбиваются, а слова остаются.

— Остаются, — сказал Гвидон. — Я запомнил.

Он поставил чашку на перила крыльца — осторожно, бережно, как ставят икону в красный угол.

— Буду из неё чай пить, — сказал он. — Пусть протекает. Я подставлю блюдце.

Марфа Петровна кивнула.

— Я пойду, — сказала она. — У меня вязание не закончено.

— Иди, мам.

Она пошла по тропинке — прямая, сухая, с авоськой в руке. Только шаг стал мягче. Или это ветер качнул ветки.

Гвидон смотрел ей вслед.

— Мам, — крикнул он. — Спасибо за чашку!

Она не обернулась. Только махнула рукой — мол, слышу, не кричи.

Но Агата, стоявшая в дверях, видела, как у неё дрогнули плечи.

— —

Клиентский кейс №9

Тема: Горе потери не-человека, право на «немасштабное» горе, символический ремонт отношений через ремонт вещи.

Используемые метафоры: разбитая чашка; осколки как память; клей как продолжение любви; швы как честность.

Ключевая сутра (скрытая): *Ишвара-пранидхана* — посвящение высшему, доверие. Марфа Петровна всю жизнь посвящала себя контролю. Склеивание чашки стало актом доверия — не клею, не рукам, а тому, что связь с сыном сильнее фарфора. Она отпустила иллюзию вечной целостности и приняла реальность «вечных швов».

Результат: Первые сказанные вслух слова «я тебя люблю» за сорок лет. Легитимизация горя по вещи. Принятие несовершенства как новой формы красоты.

Работа Агаты с собой: Наблюдала и не вмешивалась. Не предлагала «выбросить и купить новую», не утешала, не обесценивала. Просто держала пространство, чайник и эпоксидный клей.

— —

Вечером того же дня Марфа Петровна прислала Агате сообщение.

«Поставилачашку на подоконник. Гвидон уехал в лес, а чашку забрал с собой. В термосе, говорит, чай дольше горячий, но из термоса не видно швов. А ему важно видеть. Сказал, что швы напоминают: ничего вечного нет, но всё можно починить, если не полениться.

Я думала об этом весь день. Сорок лет я считала, что хорошая мать — та, у которой всё целое. Небьющееся. Идеальное. А сегодня смотрю на эту чашку и думаю: может быть, хорошая мать — та, которая умеет чинить. Не скрывать трещины, не стыдиться их, а делать их видимыми. Чтобы дети знали: ломаться — не стыдно. Стыдно — притворяться целым, когда внутри всё рассыпалось.

Я купила ещё эпоксидного клея. На всякий случай.

Спасибо тебе, Агата. И фартук я свяжу. Серый, с карманами. Обещаю».

Агата прочитала сообщение три раза.

— Котофей, — сказала она. — Марфа Петровна купила эпоксидный клей на всякий случай.

— Мяу, — сказал Котофей. — Мир сошёл с ума. Или наоборот — наконец-то встал с головы на ноги. Я ещё не решил.

— Она сказала «спасибо».

— Она тебе уже говорила спасибо. За шарф, за чай, за то, что ты не психолог.

— Это другое. Это — за разрешение.

— За какое разрешение?

— За разрешение быть неидеальной. Ломать чашки. Горевать о них. Чинить. Показывать швы. Не бояться, что сын разлюбит из-за трещин.

Котофей помолчал.

— Знаешь, — сказал он, — когда я был маленьким котёнком, я думал, что взрослые — это те, у кого всё получается. А потом вырос и понял: взрослые — это те, кто умеет признавать, что ничего не получается, и всё равно продолжать.

— Ты это сейчас про Марфу Петровну?

— Я про всех, — сказал Котофей. — Про неё, про тебя, про себя. Про чашку, которая не течёт, но стоит на подоконнике и ловит солнце швами.

Агата кивнула.

За окном темнело. Рябина стояла голая, без листьев, но ягоды на ней держались — красные, яркие, как капли эпоксидной смолы, в которую замешали свет.

Где-то в лесу Гвидон пил чай из склеенной чашки и смотрел на закат.

Где-то в городе Марфа Петровна вязала серый фартук с большими карманами — для клубков, для осколков, для всего, что нужно держать близко к сердцу.

Где-то в избе на курьих ножках Агата смотрела на полку, где стояли берестяная колыбелька, узел Таисии, сухие травы — и теперь, рядом с ними, фотография чашки, которую Гвидон прислал из леса.

Швы на ней горели золотом в лучах заходящего солнца.

— Красиво, — сказала Агата.

— Мяу, — сказал Котофей. — Очень.

Глава 10

Фил и язык без слов
Или о том, что код бывает не только машинным

Он пришёл вечером, когда изба уже надышалась теплом от печи, а Котофей разлёгся на половике пузом кверху в позе абсолютного блаженства.

Фил редко выходил из своей комнаты без повода. Еда, чай, срочный ремонт техники у Гвидона — вот исчерпывающий перечень причин для появления в общем пространстве. Но сегодня он вошёл, сел на лавку, положил руки на колени и замер.

Агата отложила вязание. Марфа Петровна, приходившая довязывать тот самый серый фартук, подняла голову от спиц.

— Фил? — сказала Агата. — Что-то сломалось?

— Нет, — сказал Фил. — Всё работает. Я… познакомился с человеком.

Марфа Петровна уронила петлю.

— С девушкой? — уточнила она тоном, каким раньше уточняла диагнозы у лаборантов.

— С девушкой, — сказал Фил.

Пауза.

— Она не говорит, — добавил он. — Совсем. У неё аутизм, тяжёлая форма. Раньше она вообще не выходила из дома. Потом кто-то подарил ей планшет с программой для коммуникации. Она нажимает на картинки, планшет озвучивает. «Хочу пить». «Мне страшно». «Спасибо». Три года она училась составлять предложения. Теперь может сказать: «Сегодня солнечно, я хочу гулять, пойдём со мной».

Он замолчал. Смотрел в стол.

— Как её зовут? — спросила Агата.

— Алиса, — сказал Фил. — Ей двадцать семь. Она рисует. У неё выставка была в городском центре, я случайно зашёл. Там были птицы. Не такие, как в лесу — другие, похожие на узоры, на код. Я стоял и не мог отойти. А она стояла рядом и смотрела, как я смотрю на её птиц.

— И что ты сказал?

— Ничего. Я не знал, что говорить. Я вообще не умею говорить с людьми. Ты знаешь. Я могу объяснить алгоритм, настроить сеть, найти уязвимость в системе. А сказать «мне нравятся твои птицы» — не могу. Язык застревает в горле. Как будто слова — не мой формат.

— И что же ты сделал?

Фил поднял глаза. В них было что-то, чего Агата не видела никогда — не растерянность, не страх, а странная, тихая решимость.

— Я написал ей письмо, — сказал он. — Не на планшет — на бумаге. Нарисовал птицу. Такую, как у неё на картине, только чуть другую. И подписал: «Мне тоже легче говорить рисунками».

— И она ответила?

— Она пририсовала моей птице второе крыло. У меня было одно, я забыл. И отправила обратно.

Фил достал из кармана сложенный вчетверо лист.

Агата развернула.

На бумаге была птица. Неправильная, угловатая, нарисованная рукой, которая привыкла чертить схемы, а не порхать по листу. Одно крыло длиннее, хвост кривой, глаз — просто точка. Рядом — другое крыло, пририсованное другим почерком, плавным, уверенным, с прорисованными перьями.

И внизу, печатными буквами:

«Ты забыл, что птицам нужны два крыла. Я добавила. Теперь полетит».

Агата смотрела на рисунок.

— Фил, — сказала она, — это любовное письмо.

— Я знаю, — сказал Фил. — Я три дня не мог спать. Думал: «Это ошибка, она не то имела в виду, это просто вежливость, она всем так дорисовывает». А потом понял: даже если ошибка — мне всё равно. Я хочу быть рядом с ней. Я хочу научиться с ней говорить. Не словами — у меня с ними плохо. Тем языком, который у неё. Рисунками. Взглядами. Тишиной.

Он посмотрел на мать.

— Ты умеешь так говорить, — сказал он. — Со Златой. Ты не заставляла её произносить вслух. Ты читала по глазам, по дыханию, по тому, как она сжимает пальцы. Научи меня.

Агата молчала долго.

— Я не учитель, — сказала она. — Я просто… была рядом. Пятнадцать лет рядом. Это не метод, это жизнь.

— Тогда возьми меня в эту жизнь, — сказал Фил. — На стажировку.

Она не учила его говорить без слов.

Она просто… брала с собой.

В сад — смотреть, как распускаются почки. К рябине — слушать, как ветер шуршит по сухим ягодам. На крыльцо — сидеть в тишине и считать облака.

Фил сидел рядом. Не задавал вопросов. Не отвлекался на телефон. Просто сидел.

На третий день он сказал:

— Я слышу, как дышит изба. У неё ритм разный. Утром — быстрее, вечером — медленнее. Как будто она тоже устаёт.

— Слышишь, — сказала Агата. — Значит, учишься.

На пятый день он пришёл с планшетом.

— Я сделал программу, — сказал он. — Для Алисы. Она нажимает на картинку — планшет говорит. Но ей нужны новые картинки. Она рисует лес, а у неё в программе только «дерево», «трава», «небо». А ей нужно «сосна» и «папоротник» и «утренний туман над болотом». Я хочу добавить.

— Добавь, — сказала Агата.

— Я не знаю, как выглядят папоротники. Я никогда не смотрел на них. Я просто знал, что они есть.

— Пойдём, покажу.

Они пошли в лес. Фил фотографировал папоротники, мох, кору, следы птиц на снегу. Спрашивал названия, записывал, сортировал по папкам.

— Красиво, — сказал он, глядя на снимок замшелого пня. — Как старый сервер, который отключили, но он всё ещё помнит данные.

— Помнит, — сказала Агата. — Лес всё помнит.

Через неделю он уехал в город.

Не прощаться — предупредить: «Я к Алисе, вернусь завтра». Агата кивнула.

Он вернулся через три дня.

— Я показал ей папоротники, — сказал он. — Она долго смотрела. Потом нарисовала свой. У него листья были не зелёные, а синие.

— Синие папоротники не растут в лесу, — заметила Марфа Петровна, не отрываясь от вязания.

— Растут, — сказал Фил. — У неё в голове. Там другой лес.

Он помолчал.

— Она сказала: «Спасибо за слова». Я не добавлял новых слов. Я добавил картинки.

— Для неё это одно и то же, — сказала Агата. — Слова и картинки. Способ быть услышанным.

Фил кивнул.

— Я тоже хочу так, — сказал он. — Чтобы меня слышали не через слова. Через то, что я делаю. Код, рисунки, папоротники. Чтобы человек смотрел и понимал: это я, это моё, это тебе.

— Она поймёт, — сказала Агата. — Она уже поняла. Иначе зачем ей дорисовывать второе крыло?

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №853.

Фил сегодня сказал: «Я не умею говорить с людьми».

Он ошибается. Он умеет говорить. Просто не на том языке, который считается «основным». Его язык — код, схемы, алгоритмы. Это не хуже и не лучше — это другой диалект. Проблема не в нём, проблема в переводчиках.

Алиса — такой же «другой диалект». Она говорит рисунками и пиктограммами. Она двадцать семь лет жила в мире, где её язык считали «недоразвитым», «ограниченным», «детским». А он просто — другой. Как лесной и цифровой, как птичий и кошачий.

Фил впервые встретил человека, с которым ему не нужно переводить. Она не ждёт от него «привет, как дела, нормально, а у тебя». Она ждёт, что он увидит её птиц и дорисует им крылья.

Он дорисовал. Не на бумаге — в программе. Сделал для неё новый словарь картинок. Лесные травы, деревья, облака. Всё, что она не могла назвать раньше, теперь имеет визуальное имя.

Это, наверное, и есть любовь. Не когда ты говоришь красивые слова. А когда ты расширяешь чей-то словарь.

Котофей рекомендует:

Кошки вообще не пользуются словами. Мы пользуемся взглядом, позой, хвостом, ушами, мурлыканьем, шипением. И нас прекрасно понимают. Даже люди, которые считают себя «вербальными», отлично считывают кошачий язык. Просто не всегда признаются.

Фил — кошачий человек в человеческом теле. Он всегда говорил на языке, близком к кошачьему: действие, ритм, присутствие. А его заставляли переводить на человеческий. Он переводил — плохо, с ошибками, теряя смыслы. И его считали «странным», «замкнутым», «безэмоциональным».

Алиса не требует перевода. Она сама говорит на языке, где слово — картинка, а картинка — чувство. Они встретились не вопреки своей «инаковости», а благодаря ей.

Кошки одобряют. И просят добавить в программу Фила картинку «сметана». На всякий случай.

Мяу.

Алиса приехала в лес через месяц.

Фил не предупредил — просто привёз. Вышел из машины, открыл пассажирскую дверь, подал руку. Из машины вышла маленькая, хрупкая женщина в огромных наушниках и тёмных очках. Огляделась. Замерла.

— Здесь тихо, — сказал планшет женским синтезированным голосом. — Не как в городе. Здесь воздух другой.

— Это лес, — сказал Фил. — Мой лес. Я здесь вырос.

Алиса сняла очки. Посмотрела на сосны, на снег, на избушку с куриными ногами.

— Красиво, — сказал планшет. — Похоже на мои синие папоротники. Только зелёные.

— Я покажу тебе всё, — сказал Фил. — Не сегодня. Постепенно.

— Хорошо, — сказала Алиса. — Я умею ждать.

Они вошли в избу.

Агата заваривала чай. Марфа Петровна вязала. Котофей, нарушив все протоколы кошачьего поведения, спрыгнул с печи и подошёл к Алисе вплотную. Посмотрел на неё. Потом медленно, осторожно потёрся о её ногу.

Алиса замерла. Опустила руку. Котофей ткнулся носом в ладонь.

— Он меня зовёт, — сказал планшет. — Я могу его погладить?

— Он сам пришёл, — сказала Агата. — Значит, можно.

Алиса гладила кота. Котофей мурлыкал.

— У него внутри моторчик, — сказал планшет. — Тёплый.

— Это не моторчик, — сказал Фил. — Это счастье. Так кошки его выражают.

Алиса подняла глаза. Посмотрела на Фила долгим, немигающим взглядом.

— Ты тоже так умеешь? — спросил планшет. — Выражать счастье?

— Не знаю, — сказал Фил. — Никогда не пробовал.

— Попробуй, — сказала Алиса.

Фил молчал долго. Потом улыбнулся. Не широко, не демонстративно — просто чуть приподнял уголки губ. Но Агата, смотревшая на них из кухни, увидела: это была его первая настоящая улыбка за последние годы.

— Получается, — сказал планшет. — Я вижу.

— Мурлыкать пока не умею, — сказал Фил.

— Научишься, — сказала Алиса. — Я подожду.

Клиентский кейс №10. Тема: Нейроотличность, поиск языка общения, принятие своей «невербальности» как нормы. Используемые метафоры: птица с одним крылом; словарь картинок; синие папоротники; кошачье мурлыканье как выражение счастья. **Ключевая сутра (скрытая):** *Пратьякша* — непосредственное восприятие. Фил всю жизнь пытался перевести свои чувства в слова — и терял суть при переводе. Алиса воспринимает мир напрямую: картинки, взгляды, прикосновения. Ей не нужен перевод. Ей нужен **контакт**. **Результат:** Фил впервые встретил человека, с которым не нужно притворяться «вербальным». Начал осваивать новый язык — не заменяющий, а дополняющий его собственный. **Работа Агаты с собой:** Перестала быть «переводчиком» для сына. Просто взяла его в лес и разрешила смотреть.

Алиса осталась до вечера.

Она сидела у окна и рисовала в планшете. Фил сидел рядом и смотрел, как под её пальцами рождаются деревья, птицы, избушка на курьих ножках. Иногда она показывала ему рисунок, он кивал, она дорисовывала.

— Алиса, — сказал Фил. — Я никогда не говорил никому… но я тоже иногда не понимаю, что чувствую. Не могу назвать. Просто знаю: хорошо или плохо, тепло или холодно, близко или далеко. А слова — потом, если вообще приходят.

Алиса посмотрела на него. Потом взяла планшет.

«Я тоже. Слова — это перевод. Чувства — оригинал. Ты не обязан переводить всё подряд. Иногда достаточно просто чувствовать».

Фил читал. Перечитывал.

— Спасибо, — сказал он.

«За что?»

— За то, что не просишь меня быть другим.

Алиса улыбнулась.

Вечером, когда Фил увёз Алису в город, Агата сидела на крыльце и смотрела на звёзды.

— Знаешь, — сказал Котофей, — а у твоего сына всё получится.

— С чем?

— С жизнью. С ней. С языком, у которого нет слов. Он всегда в этом был силён, просто никто не давал ему подходящего словаря.

— А теперь дали?

— Теперь он сам себе составил. Из папоротников, птиц и синего неба над болотом. Хороший словарь. Рабочий.

Агата кивнула.

— Она ему подходит, — сказала она. — Не потому, что она такая же. А потому что она не пытается его исправить.

— Кошачья логика, — сказал Котофей. — Не чини то, что работает. Даже если работает не как у всех.

— Это человеческая логика, — сказала Агата. — Просто люди часто про неё забывают.

— Ну, — сказал Котофей, — теперь у них есть Фил. И Алиса. Они напомнят.

Глава 11

Зоя и гном Вседозволенности — вторая серия
Или о том, что внутренний критик не увольняется — он переквалифицируется

Зоя приехала в субботу утром, что само по себе было подозрительно.

В субботу утром нормальные люди спят, пьют кофе в постели или смотрят дурацкие сериалы, завернувшись в одеяло. Зоя в субботу утром обычно бегала, писала планы на неделю, разбирала почту и успевала сделать три дела до завтрака.

Сегодня она сидела на лавке, обхватив кружку обеими руками, и смотрела в одну точку.

— Я сломалась, — сказала она. — Опять.

— Не сломалась, — сказала Агата. — Села отдохнуть.

— Я отдыхаю уже три недели. Я сплю по десять часов. Я гуляю в парке. Я даже начала вязать — бабушка научила. У меня уже полшарфа готово, кривое, но моё. Я делаю всё, что советуют психологи: замедлилась, прислушалась к себе, разрешила себе ничего не делать.

— И?

— И внутри сидит гад, который шепчет: «Ты бездарно тратишь время. Ты могла бы строить карьеру, зарабатывать деньги, менять мир. А ты вяжешь дурацкий шарф и считаешь это достижением. В двадцать восемь лет — полшарфа. Гордиться нечем».

Агата вздохнула.

— Гном, — сказала она. — Тот самый, из детства. Переквалифицировался.

— Какой гном?

— Ты не помнишь. Ты была маленькая. Я тебе сказку рассказывала про гнома Вседозволенности, который жил у тебя в голове и шептал: «Ты — центр вселенной, всё должно быть интересно, скука — смерть».

Зоя замерла.

— Помню, — сказала она медленно. — Я думала, он исчез, когда я выросла.

— Он не исчез. Он просто сменил профессию. Раньше он требовал, чтобы ты бежала. Теперь требует, чтобы ты сидела правильно. Не отдыхала — отдыхала *продуктивно*. Не расслаблялась — расслаблялась *с пользой*. Не была — была *эффективно*.

Зоя молчала.

— Я не могу ему угодить, — сказала она. — Раньше я думала: вот перестану бежать — и станет легко. А стало ещё тяжелее. Потому что теперь я не просто устаю — я ещё и стыжусь своей усталости.

— Классика, — сказала Агата. — Внутренний критик — он как домовой. Его нельзя уволить. Можно только договориться.

— С гномом?

— С гномом. Пригласи его на чай.

Зоя посмотрела на мать как на сумасшедшую.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно. Закрой глаза и представь его. Как он выглядит?

— Маленький, — сказала Зоя неохотно. — В смешном колпаке. Толстый. Нос картошкой. Сидит на краю стола и стучит ногой.

— Что он делает?

— Смотрит на мой шарф и качает головой.

— Спроси его, чего он боится.

Зоя зажмурилась. Молчала долго. Потом открыла глаза.

— Он сказал: «Если ты перестанешь быть лучшей, ты станешь никем». Я говорю: «Я и так никто, я без работы, без планов, без амбиций». А он: «Вот видишь, я же говорил».

— И что ты чувствуешь?

— Злость, — сказала Зоя. — И… страх. Вдруг он прав?

— А ты спроси: «Что будет, если он окажется прав?»

Зоя снова закрыла глаза.

Пауза.

— Я стану… просто человеком, — сказала она. — Не лучшей, не успешной, не выдающейся. Буду жить в маленькой квартире, вязать шарфы, иногда ездить в лес к маме. Никто не напишет обо мне статью. Никто не позовёт на конференцию. Я исчезну из всех рейтингов и списков.

— И что?

— И… это нормально, — сказала Зоя удивлённо. — Это же просто жизнь. Не подвиг, не катастрофа, не провал. Просто жизнь.

— Скажи это гному.

Зоя помолчала. Потом вслух, чётко, как на совещании:

— Слушай, ты. Я не буду лучшей. Я не буду первой. Я не буду выдающейся. Я буду просто Зоей, которая вяжет кривой шарф и пьёт чай с мамой. И если тебе это не нравится — ты можешь сидеть на столе и стучать ногой. Мне всё равно.

Она открыла глаза.

— Он замолчал, — сказала она. — Сидит, надулся, но молчит.

— Не надолго, — сказала Агата. — Он будет возвращаться. Гномы — они упрямые. Но теперь ты знаешь, что с ним делать.

— Что?

— Не спорить. Не доказывать. Не пытаться стать «достаточно хорошей» для его стандартов. Просто замечать: «А, ты опять здесь. Привет. Чай будешь?»

— И он отстанет?

— Не отстанет. Но перестанет быть тюремщиком. Станет просто… соседом. Немного надоедливым, но безобидным.

Зоя посмотрела на свой недовязанный шарф.

— Знаешь, — сказала она, — а он ведь не врёт. Я правда перестала быть лучшей. Я правда никто в своей профессиональной тусовке. Меня забыли уже, наверное. И мне… хорошо. Странно, но хорошо.

— Это не странно, — сказала Агата. — Это называется «найти своё место». Оно не всегда на вершине. Иногда оно — на лавке, у печки, с недовязанным шарфом.

— А если я никогда не захочу обратно? На вершину?

— Значит, не захочешь. Лес не требует от белок, чтобы они становились орлами. Белки — тоже важный вид.

Зоя улыбнулась.

— Ты сейчас про меня?

— Про тебя. Про гнома. Про шарф. Про то, что двадцать восемь лет — не возраст для окончательного выбора. Можно ещё десять раз передумать.

— А можно не передумывать?

— Можно просто жить, — сказала Агата. — Без плана, без графика, без KPI. Это не запрещено.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №854.

Зоя сегодня встретилась со своим гномом.

Я думала об этом весь вечер. Мы так старательно изгоняем внутренних критиков, заглушаем их, переписываем, убеждаем себя, что мы «достаточно хороши». Но критики не уходят. Они просто уходят в подполье и оттуда продолжают диктовать свои условия.

Гном Вседозволенности — не враг. Он — искажённый защитник. Когда-то, в детстве, он спасал Зою от чувства ничтожности. «Ты особенная, — шептал он. — Ты имеешь право на всё. Не слушай никого». Это была анестезия. Без неё она бы не выжила в мире, где её таланты не замечали, а импульсивность осуждали.

Проблема в том, что анестезия перестала работать, но пациент не научился жить без боли. И гном, верный своей миссии, нашёл новую угрозу: покой. «В покое ты станешь никем, — шепчет он. — Беги, доказывай, достигай. Только так ты имеешь ценность».

Зоя сегодня сделала важное: она перестала бороться. Не победила — договорилась. Признала, что гном имеет право на существование. Но отказалась подчиняться.

В йога-сутрах это называется вайрагья — непривязанность. Не подавление желаний, а наблюдение за ними без отождествления. «Я вижу этого гнома. Я слышу его голос. Но я — не он».

Зоя никогда не читала сутр. Но она интуитивно поняла главное: внутреннего критика нельзя убить. Можно только перестать кормить.

Сегодня она не кормила. Она просто предложила чай.

Котофей рекомендует:

Кошки — мастера непривязанности. Мы не боремся с мухами, которые жужжат над ухом. Мы наблюдаем. Иногда лениво щёлкаем зубами. Иногда просто закрываем глаза и делаем вид, что мухи не существует. Мухи от этого не исчезают, но перестают быть центром вселенной.

Зоин гном — такая же муха. Он жужжал двадцать восемь лет, и она бегала за ним с мухобойкой. Сегодня она впервые положила мухобойку и сказала: «Жужжи, если тебе так надо. Я буду пить чай».

Муха, лишённая внимания, теряет власть. Она всё ещё жужжит — привычка, ничего не поделаешь. Но уже не управляет движением.

Зоя сегодня стала чуть больше похожа на кошку.

Я горжусь.

Мяу.

Шарф она довязала к вечеру.

Кривой, с петлями разного размера, с дырой почти посередине и странным утолщением на конце. Зоя надела его на Котофея.

— С ума сошла, — сказал кот, но не сбежал. Шарф был тёплый, а на печи сквозило.

— Красиво, — сказала Зоя. — Тебе идёт.

— Мне идёт моя собственная шерсть, — проворчал Котофей, но шарф не скинул.

— Гном, — сказала Зоя в пространство. — Ты видишь? Я довязала. Не идеально, но до конца. Это засчитывается?

Тишина.

— Ладно, — сказала Зоя. — Потом скажешь.

Она убрала спицы, свернула остатки шерсти и посмотрела на мать.

— Я, наверное, поеду завтра, — сказала она. — Не домой — в город. У меня там встреча с одной художницей. Она ландшафтные проекты делает, ищет помощника. Я подумала: может, попробую? Не карьера, так, подработка. Руками покопаться, растения посадить. Я в детстве любила.

— Попробуй, — сказала Агата.

— А если не получится?

— Попробуешь что-то другое.

— А если я так и буду всю жизнь пробовать и ничего не достигну?

— Значит, будешь человеком, который всю жизнь пробует. Такие тоже нужны. Без них мир был бы полон достигнутых целей и пустых глаз.

Зоя кивнула.

— Спасибо, мам, — сказала она. — За гнома.

— Не за что, — сказала Агата. — Он теперь и мой сосед. Будем чай пить втроём.

— Он чай не пьёт, — сказала Зоя. — Он ворчит и стучит ногой.

— Значит, будет учиться, — сказала Агата. — У нас тут все чему-то учатся. Даже коты вяжут.

— Я не вяжу, — сказал Котофей. — Я ношу. Это разные профессии.

— Носи, — сказала Зоя. — Тебе идёт.

Котофей фыркнул, но шарф не снял.

Ночью Агате приснился гном.

Он сидел на краю стола, болтал ногами в смешных башмаках и смотрел на неё исподлобья.

— Ты меня Зое подослала, — сказал он. — Зачем?

— Она боялась тебя, — сказала Агата. — А бояться того, кто внутри — всё равно что бояться собственной тени. Бесполезно и утомительно.

— И что теперь? Я без работы?

— Ты всегда будешь при деле, — сказала Агата. — Страх, что ты недостаточно хорош — он не лечится окончательно. Можно только научиться с ним жить. Ты теперь не надзиратель, а сирена. Иногда срабатываешь без повода, иногда вовремя предупреждаешь об опасности. Главное — чтобы Зоя знала: сигнал не равен катастрофе. Можно услышать, кивнуть и продолжить вязать.

Гном молчал. Потом слез со стола и направился к двери.

— Ты куда? — спросила Агата.

— К Зое, — сказал он. — Скажу, что она молодец. Шарф у неё, конечно, уродский, но она хотя бы довязала. Это я уважаю.

Агата проснулась.

В избе было темно. Котофей, замотанный в кривой шарф, спал на печи и тихонько похрапывал.

Где-то в городе, в своей квартире, Зоя, наверное, тоже спала. Без планов на завтра, без списка задач, без гнома, стучащего ногой в виске.

Или с гномом. Но уже договорившись.

Агата закрыла глаза.

Клиентский кейс №11. Тема: Внутренний критик, перфекционизм, синдром самозванца в состоянии покоя. Используемые метафоры: гном Вседозволенности; внутренний критик как домовой; приглашение на чай; сирена, а не надзиратель. **Ключевая сутра (скрытая):** *Вайрагья* — непривязанность. Зоя перестала бороться с внутренним голосом и начала его **наблюдать**. Это не победа, это перемирие. Но в перемирии больше жизни, чем в войне без конца. **Результат:** Легитимизация «провала» как нормы. Принятие того, что гном никуда не денется. Смена стратегии с «уничтожить» на «договориться». **Работа Агаты с собой:** Использовала собственный опыт выхода из «матрицы категорий», чтобы не предлагать Зое новый метод, а вернуть её к старому, забытому — силе парадоксального разрешения.

Утром Зоя уехала.

На прощание сунула Агате свёрток.

— Это тебе, — сказала она. — Я, пока вязала, думала: у мамы фартук старый, весь в пятнах от зелий. А у бабушки теперь модные вязаные вещи. Надо и тебе обновку.

Агата развернула.

На свет появился шарф. Не кривой, не дырявый — ровный, тёплый, серый, с аккуратными петлями. Только один край чуть длиннее другого.

— Я знаю, — сказала Зоя. — Он несимметричный. Но я решила: пусть будет. Как я.

— Красивый, — сказала Агата. — Спасибо.

— Носи, — сказала Зоя. — И гнома моего не слушай. Он теперь уволился, но по привычке ещё может ворчать.

— Не буду, — сказала Агата.

Зоя уехала.

Агата надела шарф поверх фартука. Котофей, скинувший свой ночной наряд, покосился с печи.

— Тебе идёт, — сказал он.

— Врёшь, — сказала Агата.

— Немного, — признал кот. — Но она старалась. И петли ровные. Для первого раза — подвиг.

— Для первого раза? Она же вязала уже.

— Это она вязала. Первый раз, когда не пыталась быть идеальной.

Агата провела рукой по шерсти. Мягкая, серая, с чуть вытянутым краем.

— Хороший шарф, — сказала она. — Тёплый.

— Носи, — сказал Котофей. — Заслужила.

Глава 12

Злата и разговор без планшета

Или о том, что голос есть у всех — даже у тех, кто никогда не говорил

Она пришла ночью.

Не потому, что не могла уснуть — Злата вообще редко спала по расписанию. Просто ночью воздух становится гуще, а слова — медленнее. Их легче ловить, легче рассматривать, легче решать, стоит ли выпускать наружу.

Агата сидела у печи с книгой, которую не читала. Котофей дремал на коленях, время от времени подёргивая ухом. В углу Григорий перебирал веники и тихо ворчал на несовершенство мира.

Злата вошла бесшумно. Села на пол, привалилась спиной к тёплой печной стенке. Подтянула колени к груди. Помолчала.

— Я хочу попробовать, — сказала она.

Голос был тихий, хриплый, будто непользованный. Агата не сразу поняла, что звук идёт не от планшета — от неё. Живой. Настоящий. Почти забытый.

— Попробовать что? — спросила Агата, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Говорить, — сказала Злата. — Вслух. Без картинок. Без машины. Сама.

Она замолчала. Сглотнула.

— Я не знаю, получится ли. У меня в голове слова есть, а в горле — застревают. Как будто пробка. Я толкаю — не едет. Я злюсь — ещё хуже. А иногда, когда никого нет, когда я одна, они сами выходят. Я говорю с деревьями. С рябиной. С котом, когда он спит и не слышит.

— И что ты им говоришь?

— Разное, — сказала Злата. — Что лес красивый. Что кофе в кофейне сегодня удался. Что я скучаю по папе, когда он уезжает. Что ты пахнешь мятой и усталостью, и я боюсь, что однажды ты устанешь насовсем.

Она подняла глаза. В них не было страха — была решимость. Твёрдая, спокойная, как у человека, который долго собирался и наконец собрался.

— Я хочу сказать это тебе, — сказала она. — Не деревьям. Не коту. Тебе. Чтобы ты слышала. Чтобы знала.

Агата молчала. Боялась спугнуть.

— Скажи, — сказала она.

Злата открыла рот. Закрыла. Снова открыла.

— Я… — выдохнула она. — Я…

Воздух вышел без звука. Она сжала кулаки, зажмурилась.

— Не торопись, — сказала Агата. — У нас вся ночь.

Злата кивнула. Сделала глубокий вдох. Ещё один.

— Я… лю…

Она закашлялась, будто слово застряло в горле колючкой.

— Не получается, — сказала она шёпотом. — Я знаю это слово. Я тысячу раз писала его в планшете. А сказать — не могу.

— Потому что планшет не боится ошибиться, — сказала Агата. — А ты боишься. Боишься, что скажешь неправильно, и слово перестанет быть правдой.

Злата кивнула.

— Я тоже так боялась, — сказала Агата. — Долго. Годы. Думала: если скажу «я люблю» — а мне не ответят? Если скажу «мне больно» — а надо мной посмеются? Если скажу «я не справляюсь» — а меня осудят? Легче было молчать. Или говорить через карты, через зелья, через заботу. Чтобы слова не рисковали.

— И что ты сделала?

— Стала говорить по кусочкам. Сначала коту. Потом рябине. Потом Гвидону, когда он спал. Потом — когда не спал. Слова не сразу стали лёгкими. Они до сих пор тяжёлые. Но я перестала ждать, что они будут идеальными.

Злата слушала. Сжимала и разжимала пальцы.

— Можно я попробую ещё? — спросила она.

— Пробуй.

— Я… люб… — она запнулась, выдохнула. — Я люблю…

Пауза. Длинная, звенящая.

— Я люблю, когда ты сидишь на крыльце и ждёшь меня, — сказала она. — Даже если я не просила. Даже если я не знала, что приду. Ты всё равно сидишь. И это… это…

— Что?

— Это значит, что я есть, — сказала Злата. — Не потому, что я что-то делаю. Не потому, что я говорю или молчу, или рисую, или работаю в кофейне. Просто — я есть. И ты это видишь. И остаёшься.

Агата смотрела на дочь. На её лицо, освещённое огнём печи. На слёзы, текущие по щекам — беззвучно, без всхлипов, просто вода, которой стало слишком много внутри.

— Ты есть, — сказала Агата. — Ты всегда была. Даже когда не говорила. Даже когда пряталась в планшет. Даже когда злилась на меня и кричала, что я тебя не понимаю. Ты есть. И я остаюсь.

Злата кивнула.

— Я устала, — сказала она. — Не от разговора — от молчания. От того, что все мои слова проходят через фильтры, программы, переводчики. Я хочу, чтобы меня слышали такой, какая я есть. Без посредников.

— Тебя слышат, — сказала Агата. — Я слышу. Даже когда ты молчишь. Даже когда ты не можешь сказать. Я слышу.

— Знаю, — сказала Злата. — Но я хочу, чтобы слышали другие. Чтобы в кофейне я могла сказать: «Двойной капучино, пожалуйста», а не тыкать в картинку с чашкой. Чтобы Рубен знал: я не просто девочка с планшетом, я — Злата, я умею говорить, просто мне нужно больше времени.

— И что ты хочешь от меня?

— Не знаю, — сказала Злата. — Просто будь рядом. Когда я буду пробовать и у меня не будет получаться. Когда я буду злиться на свой голос, который звучит не так, как в голове. Когда я захочу бросить и снова спрятаться в молчание. Просто будь. Не спасай, не лечи, не переводи. Будь.

Агата кивнула.

— Я умею, — сказала она. — Я научилась.

Они сидели до рассвета.

Злата говорила. Медленно, с запинками, иногда проглатывая окончания, иногда замолкая на полуслове, чтобы перевести дыхание. Она говорила о кофейне, о Рубене, который каждое утро ставит ей в чашку лишнюю ложку сахара, потому что знает: она любит сладкое, но стесняется попросить. О Филе, который научил её не бояться кода, потому что в коде ошибки

подсвечиваются красным, и это не страшно, это просто сигнал: здесь нужно исправить. О Зое, которая приезжает и разбрасывает носки, а потом собирает, и в этом жесте — вся её любовь, неуклюжая, но настоящая. О папе, который всё ещё не понимает, зачем ей планшет, но чинит его, когда тот ломается, — чинит молча, сосредоточенно, будто это самая важная работа в мире.

— Я думала, что вырасту и стану другой, — сказала она. — Нормальной. Чтобы без планшета, без пауз, без страха перед громкими звуками. А я не стала другой. Я стала собой. Просто перестала этого стесняться.

— Это и есть взросление, — сказала Агата. — Не когда ты становишься удобным для мира. А когда мир перестаёт быть для тебя экзаменом.

Злата кивнула.

— Я хочу в институт, — сказала она. — Не сейчас, через год. На дизайн. Чтобы рисовать не для себя — для людей. Чтобы у моего языка была работа.

— Хорошо, — сказала Агата. — Поступай.

— Там нужно собеседование. Говорить с приёмной комиссией.

— Знаю.

— Я боюсь.

— Знаю.

— Но я всё равно попробую.

Агата протянула руку и взяла её ладонь в свою.

— Попробуй, — сказала она. — Если не получится — попробуешь ещё раз. Если провалишь собеседование — будешь знать, какие вопросы задают. Если поступишь — будешь учиться. Всё это — жизнь. Не экзамен.

Злата сжала её пальцы.

— Мам, — сказала она. — Я люблю тебя.

Три слова. Пять слогов. Никаких картинок, никаких программ, никаких переводчиков.

Голос дрожал, но звук вышел чистым.

Агата кивнула.

— Я знаю, — сказала она. — Я всегда знала. Но спасибо, что сказала.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №855.

Сегодня Злата впервые сказала «я люблю тебя» голосом.

Я думала, что этот день наступит когда-нибудь, но не верила, что доживу. Пятнадцать лет она молчала. Не потому, что не умела — потому что её язык был другим. Я выучила этот язык: взгляды, жесты, рисунки, долгие паузы, в которых умещались целые романы. Я думала, этого достаточно.

А ей было недостаточно. Она хотела говорить. Не для меня — для мира. Чтобы выйти из избушки в большую жизнь с собственным голосом, а не с чужим синтезатором.

Я всегда была её переводчиком. А сегодня она уволила меня. Не со злостью — с благодарностью. «Ты научила меня, что можно быть понятой без слов. Теперь я хочу попробовать быть понятой со словами».

В йога-сутрах есть понятие свадхьяя — самоизучение, проговаривание вслух священных текстов. Злата никогда не читала сутр. Но сегодня она произнесла вслух главный текст своей жизни. И текст этот — она сама.

Я думаю, боги слышали. Я точно слышала.

Котофей рекомендует:

Кошки не любят, когда им говорят «я люблю тебя». Слова для кошек — пустой звук. Мы верим только в тепло, еду и уважение к личным границам.

Но сегодня я сделал исключение. Злата говорила, а я сидел у печи и слушал. Потому что это были не просто слова. Это была целая жизнь, которая пятнадцать лет копилась внутри и наконец нашла выход.

Знаете, чем кошки отличаются от людей? Кошки не плачут. Но если бы плакали — я бы плакал сегодня.

Мяу.

Утром Злата ушла в кофейню.

Обычная смена, обычный день, обычные посетители. Только Рубен, принимая заказ, услышал:

— Двойной капучино, пожалуйста. И один круассан.

Он поднял бровь.

— Без планшета сегодня?

— Без планшета, — сказала Злата. — Я тренируюсь.

— Хорошо тренируешься, — сказал Рубен. — Круассан с собой или здесь?

— Здесь, — сказала Злата. — Я посижу немного.

Она села у окна, смотрела, как за стеклом падает снег. Горячий кофе грел ладони. Круассан лежал на тарелке нетронутый — она просто хотела, чтобы он был.

— Злата, — сказал Рубен из-за стойки. — У тебя голос красивый. Жалко, что ты раньше молчала.

— Я не молчала, — сказала Злата. — Я ждала, когда появятся слова.

— А теперь появились?

— Появляются. По одному.

— Ну, — сказал Рубен. — Это хороший темп. Не спеши.

Она кивнула.

За окном падал снег. Внутри было тепло. Голос, который пятнадцать лет ждал своего часа, наконец-то вышел наружу.

И мир не рухнул.

Мир слушал.

Клиентский кейс №12. Тема: Сепарация, обретение голоса, переход от невербальной коммуникации к вербальной во взрослом возрасте. Используемые метафоры: слова, застрявшие в горле; голос как выход из избушки; переводчик, которого уволили. **Ключевая сутра (скрытая):** *Свадхьяя* — самоизучение, проговаривание. Злата пятнадцать лет изучала себя через молчание. Сегодня она начала изучать себя через звук. Это не замена одного языка другим — это расширение словаря. **Результат:** Первый осознанный вербальный контакт с миром. Признание права на неидеальную речь. Смена идентичности с «той, у которой планшет» на «ту, которая говорит, когда готова». **Работа Агаты с собой:** Перестала быть «голосом» дочери. Отдала ей микрофон. Осталась в зале.

Вечером Агата сидела на крыльце и смотрела на рябину.

— Ты как? — спросил Котофей, вылезая из избы.

— Нормально, — сказала Агата. — Уволили меня.

— С работы?

— С должности переводчика. Злата теперь сама говорит.

— И что чувствуешь?

— Гордость, — сказала Агата. — И пустоту. Странную, светлую. Как будто я всю жизнь носила тяжёлый рюкзак, а теперь сняла, а спина всё равно помнит.

— Привыкнет, — сказал Котофей. — Спина у тебя опытная.

Агата улыбнулась.

— Знаешь, — сказала она, — я думала, что быть матерью — это значит держать. А теперь понимаю: быть матерью — это значит уметь разжимать руки. Вовремя. С любовью. Без обид.

— И как, получается?

— Учусь, — сказала Агата. — Злата говорит, у меня неплохо выходит.

— Злата у тебя вообще умная, — сказал Котофей. — В кого только?

— В кота, наверное, — сказала Агата.

— Возможно, — согласился Котофей. — Я очень умный. Просто скромный.

Они сидели на крыльце, смотрели на снег. В избе горел свет. Где-то в своей комнате Фил писал код для новой программы — теперь уже не для Алисы, для Златы: голосовой тренажёр, который мягко поправлял ударения и не ругался за ошибки. Где-то в городе Зоя рисовала эскиз будущего сада — ей предложили первый заказ, маленький, но настоящий. Где-то в своей квартире Марфа Петровна довязывала третий шарф — синий, с ровными петлями, без единой дыры.

А рядом, на крыльце, сидела Злата.

— Можно с тобой? — спросила она.

— Садись, — сказала Агата.

Злата села рядом, закуталась в бабушкин шарф.

— Я сегодня сказала Рубену, что у меня голос красивый, — сказала она. — Он согласился.

— У тебя правда красивый голос, — сказала Агата.

— Низкий слишком, — сказала Злата. — Для девушки.

— Это не «слишком», — сказала Агата. — Это «такой». Твой.

Злата кивнула.

— Мам, — сказала она. — Я не знаю, что будет через год. Поступлю я или нет, останусь в кофейне или уйду, буду говорить или снова замолчу. Я ничего не знаю.

— И не надо знать, — сказала Агата. — Жизнь — это не экзамен, где заранее известны вопросы. Это — разговор. Ты говоришь, мир отвечает. Иногда невпопад, иногда не сразу. Но пока ты говоришь — ты живая.

Злата помолчала.

— А если я ошибусь? — спросила она. — Скажу не то, не так, не тем?

— Ошибайся, — сказала Агата. — Я буду рядом. Не исправлять — слушать.

Злата кивнула.

Они сидели на крыльце, смотрели на снег. Рябина стояла тёмная, голая, но ягоды на ней держались — красные, яркие, как маленькие фонарики в зимнем лесу.

— Красиво, — сказала Злата.

— Очень, — сказала Агата.

— Мам.

— М?

— Спасибо, что научила меня ждать.

Агата не ответила. Просто взяла её за руку.

Глава 13

Фил и птица с двумя крыльями
Или о том, что лес не кусается — он дышит

Они приехали в четверг.

Фил выбрал этот день не случайно. В четверг лес тише всего: выходные ещё далеко, грибники не шастают, туристы не шумят, даже ветер, кажется, берёт паузу между средами и пятницами. Он хотел, чтобы Алиса увидела лес именно таким — спокойным, неторопливым, готовым ждать столько, сколько нужно.

Машина остановилась у крыльца. Фил вышел первым, обошёл капот, открыл пассажирскую дверь. Подал руку.

Алиса вышла медленно. Остановилась. Замерла.

На ней были те же огромные наушники и тёмные очки. Пальцы вцепились в лямку рюкзака так, будто он был единственным якорем в этом новом, огромном, пугающем мире.

— Здесь тихо, — сказал планшет. — Правда тихо. Не как в городе.

— Я говорил тебе, — сказал Фил. — Лес умеет молчать.

Алиса сняла очки. Посмотрела на сосны, уходящие в небо. На снег, припорошивший тропинку. На избушку, которая, почуяв гостей, чуть наклонилась вперёд на своих курьих ногах — рассмотреть получше.

— Она живая? — спросил планшет.

— Кто?

— Изба. Она шевелится.

Фил посмотрел на избушку. Та замерла, делая вид, что просто стоит, и вообще она не любопытная, просто карниз поправляет.

— Немного, — сказал Фил. — Она стесняется.

— Красивая, — сказала Алиса. — Похожа на птицу, которая забыла, что умеет летать, и построила дом на земле.

Фил улыбнулся.

— Ты говоришь как поэт, — сказал он.

— Я говорю как человек, который всю жизнь рисовал птиц, — сказал планшет. — А они всё равно улетали с бумаги. Эта хотя бы стоит на месте.

Из избы вышла Агата.

Она не стала подходить близко, не стала протягивать руки, не заговорила громко. Просто остановилась на крыльце, оперлась плечом о косяк и сказала:

— Заходите. Чай поспел.

Алиса посмотрела на неё долгим, немигающим взглядом. Потом кивнула.

— Спасибо, — сказал планшет. — Я зайду.

Она вошла в избу медленно, будто проверяла каждый сантиметр пространства на безопасность. Осмотрела печь, травы под потолком, полки с колыбелькой и узлом, спящего Котофея на лежанке.

— Здесь пахнет деревом, — сказал планшет. — И мятой. И ещё чем-то…

— Котом, — сказала Агата. — Он не любит мыться.

Алиса подошла к печи. Остановилась в шаге от лежанки.

Котофей открыл один глаз. Посмотрел на гостью. Потом медленно, с чувством собственного достоинства, потянулся, зевнул и спрыгнул на пол.

— Он идёт ко мне, — сказал планшет. — Что ему нужно?

— Хочет поздороваться, — сказала Агата. — Можно погладить. Он не кусается, только если еду отбирать.

Алиса протянула руку. Котофей ткнулся носом в ладонь, потерся щекой о пальцы, замурлыкал.

— У него моторчик, — сказал планшет. — Как у того кота, в прошлый раз.

— Это тот же кот, — сказал Фил. — Он тебя запомнил.

Алиса смотрела на Котофея. Котофей смотрел на Алису. Планшет молчал.

— Я тоже тебя запомнила, — сказала Алиса. — Ты тёплый.

Они просидели в избе до вечера.

Алиса пила чай — медленно, держа кружку обеими руками, греясь. Смотрела в окно на лес, на падающий снег, на синиц у кормушки. Не говорила. Планшет лежал на коленях без дела.

Фил сидел рядом, не касаясь, но близко. Тоже молчал.

Агата перебирала травы. Марфа Петровна вязала. Григорий, нарушив все правила домового этикета, высунулся из-за печи и разглядывал гостью с неподдельным интересом.

— А это кто? — спросил планшет, заметив движение.

— Домовой, — сказала Агата. — Григорий. Он стеснительный.

— Здравствуйте, — сказал планшет.

Григорий побагровел и скрылся за печкой.

— Он никогда не видел, чтобы с ним здоровались, — объяснила Агата. — Обычно его ругают.

— За что?

— За ворчание, за веники не на месте, за то, что он есть.

— Это неправильно, — сказала Алиса. — Его нельзя ругать за то, что он есть.

Григорий высунулся снова. В глазах у него блестело.

— Спасибо, — прошептал он.

— Пожалуйста, — сказал планшет.

Вечером они пошли в лес.

Фил волновался. Это было видно по тому, как он то поправлял шарф, то проверял, заряжен ли планшет, то оглядывался на Алису каждые три шага.

— Ты как наседка, — сказала Агата. — Расслабься.

— А вдруг ей станет плохо? Вдруг звуки будут слишком громкими, вдруг она испугается, вдруг снег мокрый и она промочит ноги, вдруг…

— Фил, — сказала Алиса.

Он замолчал.

— Я скажу, если мне станет плохо, — сказал планшет. — Я не умею молчать, когда мне плохо. Я умею молчать, когда мне хорошо.

Фил кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Я просто…

— Знаю, — сказала Алиса. — Ты волнуешься. Это нормально. Я тоже волнуюсь. Но лес не кусается.

Она посмотрела на Агату.

— Вы так сказали. Утром. «Лес не кусается. Если что — я рядом».

— Помню, — сказала Агата.

— Это правда?

— Правда. Лес не кусается. Он дышит. Иногда громко, иногда тихо. Иногда пахнет смолой, иногда прелой листвой. Иногда кажется, что он хочет тебя проглотить. А он просто — живёт. Рядом с тобой.

Алиса кивнула.

— Я хочу попробовать, — сказала она. — Подышать с ним рядом.

Они пошли дальше.

Фил отстал на полшага. Агата поравнялась с ним.

— Она справится, — сказала она тихо.

— Я знаю, — сказал Фил. — Я боюсь не за неё. Я боюсь, что она справится, а я — нет. Что ей здесь понравится больше, чем в городе, и она захочет остаться. А я не знаю, как жить, когда твоя мечта сбывается.

— А ты спроси у неё, — сказала Агата. — Не додумывай, спроси.

Фил молчал.

— Я спрошу, — сказал он. — Не сейчас.

— Когда?

— Когда птица долетит.

Алиса остановилась у старой сосны.

Она сняла наушники. Первый раз за весь день.

— Здесь тихо, — сказала она вслух. Без планшета. Голосом. Тихим, хрипловатым, почти невесомым. — Здесь можно не защищаться.

Фил замер.

— Ты говоришь, — сказал он.

— Иногда, — сказала Алиса. — Когда не нужно переводить. Лес понимает без слов.

Она провела рукой по коре. Закрыла глаза.

— Он старый, — сказала она. — Очень старый. Он видел много зимы. Он устал, но держится. Как твоя мама.

Фил смотрел на неё. На её пальцы, касающиеся коры. На снег, тающий на её ресницах. На тихую, спокойную улыбку, которой он никогда не видел раньше.

— Ты здесь, — сказал он.

— Я здесь, — сказала Алиса.

Она открыла глаза.

— И никуда не уйду, — сказала она. — Только если ты прогонишь.

— Не прогоню, — сказал Фил.

— Знаю, — сказала Алиса. — Поэтому и остаюсь.

Методическая врезка. Дневник Яги. Запись №856.

Сегодня Фил привёз Алису в лес.

Я смотрела на них и видела две птицы, которые учились летать вместе. У одной всегда было одно крыло — код, алгоритмы, тишина. У другой — второе, рисунки, взгляды, слова, которые не нужно произносить вслух. По отдельности они могли только планировать. Вместе — поднялись.

В йога-сутрах есть понятие сатья — правдивость. Обычно его понимают как «не лги». Но сегодня я думаю, что сатья — это ещё и способность быть тем, кто ты есть, не притворяясь другим. Фил перестал притворяться «вербальным». Алиса перестала притворяться «безмолвной». Они просто были — каждый на своём языке, но в одном разговоре.

Лес не потребовал от них перевода. Лес принял оба диалекта.

Я думаю, это и есть дом.

Котофей рекомендует:

Кошки не строят иллюзий. Мы знаем: лес — это не только тишина и красота. Это ещё и холод, и голод, и хищники, и неизвестность. Но мы всё равно идём в лес, потому что там мыши. Каждый выбирает своих мышей.

Алиса выбрала Фила. Фил выбрал Алису. Они приехали в лес не за романтикой — за правдой. «Получится ли у нас жить в настоящем мире, а не в картинках и коде?»

Лес ответил: «Получится. Если будете держаться вместе».

Кошки одобряют. И просят добавить в программу «Алиса-лес» пиктограмму «мышь». На всякий случай.

Мяу.

Ночью Алиса сидела у окна и рисовала в планшете.

Фил сидел рядом и смотрел. Под её пальцами рождался лес — не такой, какой он есть, а такой, какой она его увидела. Сосны уходили в небо, снег светился изнутри, избушка на курьих ножках стояла, чуть наклонившись вперёд, будто приветствовала путников.

— Красиво, — сказал Фил.

— Это твой лес, — сказала Алиса. — Я просто перевела его на свой язык.

— А это не сложно? Переводить?

— Сложно, — сказала Алиса. — Но когда переводишь что-то красивое, слова находятся сами.

Она помолчала.

— Я хочу здесь жить, — сказала она. — Не всё время. Иногда. Когда город становится слишком громким. Можно?

— Можно, — сказал Фил. — Я спрошу маму.

— Я уже спросила, — сказала Алиса. — Она сказала: «Лес не кусается. Приезжайте».

Фил улыбнулся.

— Значит, приедем, — сказал он.

— Значит, будем жить, — сказала Алиса.

Клиентский кейс №13. Тема: Нейроотличность, адаптация к новой среде, доверие к миру. Используемые метафоры: птица с двумя крыльями; лес как место без перевода; избушка, похожая на птицу, которая забыла, как летать. **Ключевая сутра (скрытая):** *Сатья* — правдивость, подлинность. Алиса не притворялась, что лес ей не страшен. Фил не притворялся, что всё контролирует. Они пришли в лес такими, какие есть, и лес принял их без условий. **Результат:** Первый опыт безопасного контакта с «большой природой». Признание права на страх и усталость. Появление нового совместного языка — не замена старому, а расширение. **Работа Агаты с собой:** Отказ от контроля. Она не страховала, не подстилала соломку, не бежала впереди с фонариком. Просто открыла дверь и сказала: «Заходите». Всё остальное лес сделал сам.

Утром Алиса вышла на крыльцо.

Одна. Без наушников, без очков, без планшета.

Она стояла и смотрела на лес. Дышала. Слушала.

Фил смотрел на неё из окна.

— Не бойся, — сказала Агата, подходя. — Она не сломается. Лес не кусается.

— Я не боюсь за неё, — сказал Фил. — Я боюсь, что она увидит: я не такой сильный, как ей кажется. Что я боюсь пауков и грозы, и что зимой мне всегда холодно, даже в трёх свитерах.

— Она уже видит, — сказала Агата. — Ты думаешь, она не заметила, что ты поправлял ей шарф каждые полчаса? Или что проверил прогноз погоды пять раз перед поездкой? Или что привёз запасные батарейки для планшета, хотя у неё новые?

Фил молчал.

— Она не ищет в тебе супергероя, — сказала Агата. — Она ищет человека, с которым можно молчать в лесу. Ты подходишь.

Алиса обернулась. Посмотрела на окно, за которым стоял Фил. Улыбнулась.

— Иди, — сказала Агата. — Она зовёт.

Фил вышел на крыльцо.

— Холодно? — спросил он.

— Нет, — сказала Алиса. — Я греюсь.

— Чем?

— Тобой, — сказала она. — Ты как печка. Сам не замечаешь.

Фил покраснел.

— Я не умею быть печкой, — сказал он.

— Умеешь, — сказала Алиса. — Просто ты думаешь, что тепло — это что-то сложное. А это просто — быть рядом.

Она взяла его за руку.

— Пойдём, — сказала она. — Покажешь мне синие папоротники.

— Они не синие, — сказал Фил. — Я тебе тысячу раз объяснял. Это оптическая иллюзия, преломление света в снегу…

— Не важно, — сказала Алиса. — В моей голове они синие. Пойдём искать.

Они пошли в лес.

Агата смотрела им вслед.

— Ну что, — сказал Котофей, вылезая на крыльцо. — Ещё один птенец вылетел из гнезда?

— Не вылетел, — сказала Агата. — Полетел. С двумя крыльями.

— Долетел?

— Долетит.

Она помолчала.

— Знаешь, — сказала она, — я всю жизнь боялась, что лес будет для них слишком суровым. Слишком холодным, слишком диким, слишком непредсказуемым. А он — принял. Всех. Фила с его кодом, Злату с её молчанием, Алису с её синими папоротниками.

— Лес умный, — сказал Котофей. — Лес знает: все птицы разные. И всем нужно место, чтобы свить гнездо.

— А я?

— А ты — лес, — сказал Котофей. — Ты и есть это место.

Агата кивнула.

За её спиной, в избе, закипал чайник. На печи грелся Григорий. На полке стояла берестяная колыбелька, рядом — узел Таисии, рядом — фотография склеенной чашки.

В лесу, где-то между сосен и синих папоротников, двое учились говорить на одном языке.

А на крыльце сидела женщина, которая когда-то была Ягой, потом стала Полем, а теперь — просто местом.

Тёплым. Живым. Своим.

продолжай

Глава 14

Гвидон и пропавшая лыжня

Или о том, что страх не отменяет любовь — он её подтверждает

Он ушёл утром.

Лыжи — старые, ещё дедовские, но ухоженные, смазанные, с креплениями, которые Фил починил ещё в прошлом сезоне. Термос с чаем, пара бутербродов, карта — хотя карта ему была не нужна, он знал лес так же хорошо, как собственное дыхание.

— К вечеру вернусь, — сказал он, целуя Агату в висок. — Хочу проверить дальние кордоны, там лоси наследили, надо посмотреть, не больные ли.

— Возвращайся, — сказала Агата.

Обычное утро. Обычный уход. Обычное «возвращайся», которое она говорила тысячу раз за тридцать лет.

Он ушёл. Лыжня легла ровно, уводя в синеву леса.

К обеду пошёл снег.

Не сильный, не метельный — просто густой, ленивый, похожий на вату. Он падал медленно, укутывая избу, сад, рябину, заметая следы.

Агата смотрела в окно и пила чай.

К трём часам снегопад усилился. К четырём — превратился в стену. За окном не стало видно ни рябины, ни тропинки, ни леса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.